

Михаил
ПОПОВ

г. Архангельск

ПЕРФОРМАНС

ПОВЕСТЬ

Кайя, продолжавшая опекать Ульяну, увлекла её в Швейцарию, благо подвернулся льготной авиарейс. Это было ещё до введения общей валюты. Там, в Берне, они кинули пенс — «фамильный» талисман Кайи Пенсы: выпадет орёл — махнут направо, во Францию, а решка — налево, в Австрию. Выпала Вена. Ульяна вначале пожалела — она предпочла бы Париж, но потом восприняла случайность не иначе как удачу.

В австрийской столице она впервые увидела то, что доселе знала лишь по репродукциям, притом не всегда качественным — работы Ван Дейка, Вермеера, Дюрера, Рубенса... Но особенно поразил её Брейгель — «Охотники на снегу». И не только потому, что прежде знала это полотно лишь по открытке. Что-то загадочное и одновременно знакомое, точно давно забытое или будто

предстоящее — вот что увиделось ей. А ещё, наверное, вселил неожиданную тревогу буклет: репродукция «Охотников» была помечена алым пятном — эмблемой выставки.

В Вене было хорошо и интересно, но Кайя, неугомонная натура, потянула подругу дальше. Причём как? Откровенным лукавством. Кайя заявила, что с пенсом она смухлевала — он упал орлом, стало быть, им надо в Париж. Ульяна недоверчиво покачала головой: она же своими глазами видела, что монетка пала решкой. Тогда Кайя, напомнив, что она Пенса, села на газон и бесцеремонно опрокинулась навзничь:

— Теперь-то ты видишь, что орлом!

В Париже они побывали везде, куда хватило сил и денег: Лувр, Эйфелева башня, остров Сите... Само собой, не обошли Монмартр — Мек-

Окончание. Начало в № 5-6 2012 г.

ку художников. Тут Ульяна не удержалась. Она подошла к юной художнице, что кропала простенькие профили, попросила карандаш и в считанные минуты набросала её портретики.

— О-ля-ля! — восхитилась та, округлив глаза.
— Откуда вы?

— Swedish, — встряла тут Кайя. Ульяна слегка прищурилась, потом расписалась на портретики и, протягивая его девочке, добавила по-английски.

— Russia. — Это вырвалось непроизвольно.

— О! — отозвалась та и назвала несколько русских художников. Среди них был и Куинджи.

Кайя слегка обиделась:

— Меня ты ни разу не изобразила...

Дружески приобняв её, Ульяна обещала увековечить подругу и в фас, и в профиль.

— То есть и орлом, и почти решкой, — уточнила Кайя и опять повеселела.

В блужданиях по Монмартру они остановились возле скульптурного изображения Далиды. Кайя, вспомнив студенческие забавы, пустилась на разные лады обыгрывать имя покойной певицы. Причём по-русски, меняя ударения и разбивая на слоги. Наверное, только на русском оно и звучало так: и загадочно, и романтично, и одновременно скабрёзно. А Кайя к тому же умудрилась пристегнуть сюда и усатого Сальвадора, поскольку фамилия художника входила в имя певицы, словно меч в ножны.

Мужчины, что кучковались возле скульптуры эстрадной дивы, касались её обнажённой груди — это, по слухам, усиливало потенцию. Кайя и тут своего не упустила.

— Нет, милоч, — ни к кому конкретно не обращаясь, продолжала она по-русски, — если уж на живое нет подъёма, то мёртвый камень милостей не прибавит. — Её слегка замедленная с неизбывным эстонским акцентом речь звучала почти научно. В толпе озабоченных оказался и русский.

— А ты почём знаешь? — подозрительно уставился он.

— Далида передавала, — не моргнув глазом, ответила Кайя.

Ульяна от греха подальше утащила её:

— Шуточки у тебя, как у одесского биндюжника или британского пирата.

— О! — тут же подхватила Кайя. — Как у Билли Бонса. Кайя Пенса — внучатая племянница Билли Бонса...

Кайя была в ударе — её несло. И не только в речах. Из Франции, по её настоянию, они махнули за Пиренеи. При этом опять повезло с билетами.

— У нас с тобой прямо-таки «зелёная волна», — заключила Ульяна.

— Ты имеешь в виду баксы? — в своём духе откликнулась Кайя и уже серьёзно добавила: — Может, это судьба?!

В Испании, однако, они выдохлись. Дальше ближнего, восточного, побережья не попали. Да и там силы хватило только на самое-самое. Из этого самого, само собой, выбрали парк Гауди и музей Дали.

Ульяна никогда прежде не задумывалась о последовательности знакомства с достопримечательностями — музеями, вернисажами, выставками. Идёшь туда, что ближе и во всех смыслах доступнее. А тут что-то вызвало досаду. Гауди они посетили после Дали. И Ульяне почему-то показалось, что надо было наоборот.

На входе в парк они увидели домик сторожа — этаким заварной торт, причудливо облитый сливочным кремом и увенчанный маячком.

— Напоминает улитку, — оценила Кайя. — Улитку, которая выползает из кондитерской, расплатившись одним рогом.

Тут, на входе, путешественницы не задержались — ждали другие чудеса. И они не обманулись в ожиданиях. И площадь, что покоится на дорических колоннах; и мраморная скамья в виде змеи, окаймляющая эту площадь-стол; и крыша, увенчанная короной из глиняных горшков; и точёная башня — шея с монистом из декоративных тарелок; и пиниевая роща, усеянная шишками и хвоей... — всё было ни на что не похоже и удивительно искусно и гармонично.

Ульяна, на многое взиравшая глазами художника, подчас забывалась и глядела вокруг, как первокурсница или даже деревенская школьница, — до того всё было чудесно и сказочно. Жаль, что этого не видят дети, забываясь, вздохнула она — её дети. И тут же осеклась: де-е-ети...

А ещё время от времени Ульяна возвращалась мысленно к домику сторожа. Ей чудилось, что в этой архитектуре заложено какое-то послание. Потому на обратном пути она предложила Кайе посидеть возле сторожки, благо рядом оказалось открытое кафе.

Переполненные впечатлениями, утомлённые прогулкой, подруги сидели молча. Ульяна

не сводила с домика глаз. Какая-то навязчивая мысль не отпускала её — округлые стены, скруглённая крыша и этот маячок, увенчанный крестом-флюгером... — пока не подали оранжад. Цвет сока мгновенно соединил несоединимое и несоединявшееся: сторожка и жирафы Сальвадора Дали. Сумасшедший генерал здесь в свои поры, конечно, побывал и под впечатлением увиденного, а скорее, в пик архитектуры-лирики и вставил в строфу Гауди свою поперечную рифму.

* * *

Измученные долгим путешествием, ... Ульяна с Кайей возвращались в Скандинавию. Всю дорогу, пересекая на автобусе Францию, они спали. Очнувшись уже где-то в Голландии.

Огромный бас катил полупустой. В их отсеке осталась лишь одна пассажирка. Это была сухопарая остистая старуха с измождённым перекошенным лицом. То ли подшофе, то ли жизнь её так укатала, но смотреть на неё было неприятно.

Перекусив да попив кофе, подруги оживились и принялись по свежим следам делиться впечатлениями. Начали по-норвежски, а потом, как это у них не раз бывало, перешли на русский. То был момент, когда Ульяна заговорила о сыне. Тут оживилась соседка.

— Старая русская, — сиплым голосом отрекомендовалась она. То, что старая, было видно и без объяснений, а вот то, что русская, подруг озадачило. Разговор их немного попригас, правда, ненадолго. Старуха ведь не вмешивалась в их беседу, только рассеянно слушала да иногда тянула шею, чтобы посмотреть на экранчик мобильного, когда Ульяна открывала фотографии.

Одну из фотографий, развернув мобильник, Ульяна показала старухе. Сергей, облачённый в норвежскую военную форму, был почему-то снят на фоне танка. Видно, все солдаты, особенно молодые, напускают на себя воинственный вид. А ещё Ульяне припомнилось давнее: вот точно так же, развернув армейскую фотографию, показывала сына-солдата, своего первенца, её мать.

Потом речь зашла о Лариске. И снова в ход пошли фотки: это она в Техасе, на мустанге её

муж; это в Калифорнии — ещё свадебное путешествие; там же — на яхте; а это Гарри за штурвалом одномоторного самолёта — Ларка поясняла, что личный. Ульяна повторила дочкину эсэмэску и поймала себя на мысли, что, кажется, хвастает.

Кайя задала дежурный в таких разговорах вопрос: не собирается ли та рожать?

— Когда? — вопросом на вопрос ответила Ульяна. — То на воде, то в воздухе, то... на мустанге...

За внешней иронией сквозила неприкрытая горечь, неизжитая материнская боль. Тут бы ей посочувствовать, успокоить её. И Кайя уже собралась было это сделать, да балтийскую неторопливость опередила русская кровь, пусть уже и старая.

— Господи! — воскликнула попутчица. — Куда вас всех гонит! Одни в Эмиратах рожают, мамелюков этих... Другие в Англии да в Германии... Дуры дурами! Меня-то ребёнком угнали, в восемь лет, — она отогнула рукав и показала наколку лагерного номера. — Всю кровь выпили, суки! Всего женского лишили... Теперь вот платят — деньгами грехи фатеров замаливают... А вы-то! По своей воле! На чужбине! Тьфу!

Старуха достала фляжку и сделала большой глоток. Лицо её исказилось ещё сильнее. Потом отвернулась к окну и более не проронила ни слова.

18

У снов, как у деревьев, есть почва, из которой они растут. Но до чего же причудливы бывают их ветви, а тем паче листья, цветы и плоды — просто уму непостижимо!

Старуха попутчица Ульяне приснилась. Та самая соотечественница из трансевропейского автобуса с номером-татуировкой ost-arbeiten на запястье. Но как приснилась? Добро бы сразу, тотчас по приезде. Это было бы, наверное, логично. Но она объявилась во сне месяца через два после встречи. Впрочем, и это только цветочки, продолжая растительный ряд. Старуха приснилась в причудливой форме, уместнее сказать — жанре. Это был по сути портрет. Не хватало только багетной рамы. Не шелохнувшись, безмолвно, вдобавок не смагивая, чем напоминала опытную натурщицу,

она взидала из глубин сознания. И только глаза, их потаённые отблески выдавали, что это не портрет, а натура.

Ульяна очнулась в липкой испарине. Сердце бухало. Стараясь утишить этот тяжёлый гул, она расслабилась, попыталась переключиться на тени ветвей, которые колыхались по потолку и стенам, в надежде найти какой-нибудь образ. И вдруг ясно осознала, что глаза-то у старухи не свои. Ульяна машинально отёрла лицо, словно снимая паутинку, что налипла в блужданиях меж причудливых деревьев, и этот будничныи жест мгновенно унёс её в прошлое, уже иное.

Балтика. Она стоит на палубе лайнера и вот точно так же отирает лицо, словно его коснулась паутинка. Откуда здесь, среди моря, может быть паутинка? И только потом, много позже, наконец понимает, что к чему.

Здесь на балтийской линии затонул паром «Эстония». На нём находился муж Кайи. Тело его не нашли. Всякий раз, проходя эти места, Кайя забивается в угол каюты. Душа её не на месте. Она мечется чайкой по железной клетушке, до того ей хочется соединиться с душой бедного Томаса. Ведь он где-то здесь, совсем рядом...

Кайя, подчас отчаянная болтушка, о самом сокровенном, оказывается, молчала. И если бы не случай, ещё бы, верно, долго таила свою боль. А когда всё же поделилась, Ульяне стало невероятно стыдно. Ведь не она, подруга, расположила Кайю к признанию — случайная коллега-переводчица, оказавшаяся за столом.

Тут бы Ульяне и признаться, что она испытала тогда на палубе. Это было мимолётное, но явственное прикосновение. Может, тем самым облегчила бы свою совесть. А вот не смогла. То ли тот самый стыд помешал? То ли нечто необъяснимое. Убоялась словесной неуклюжести. Не посмела упростить и опростить то, что испытала. Да и что было-то — кто скажет? То ли укор из невидимого мира, то ли побуждения к участию — поди разбери. Может, то старик приводил её в чувство, когда она взидала на небо: о живых надо думать, дочка, о живых... А может быть, и впрямь всего лишь мимолётная паутинка, случайно залетевшая с суши.

Давний стыд обдал Ульяну жаром. Почему её чувства всё время запаздывают? Ведь она не чёрствый по натуре человек. В чём причина этих запозданий? Или всё уже предопределено

и заранее отмерено? И чувства, и переживания, и побуждения...

Мысли её снова возвратились ко сну. Ульяна уже поняла, чьи глаза у той старухи, и теперь силилась понять, зачем они явились, те глаза, и что хотят донести. Стыд, который так внезапно навалился, ещё рассеивал внимание. Но одно Ульяна всё-таки уяснила: укора в том немигающем взгляде не было, была печаль — тихая и глубокая кручина.

Ветер за окном усилился. Надо было бы встать и затворить окно. Но Ульяна не шевелилась. Она лежала с открытыми глазами и глядела на стену, по которой комом перекаати-поля металась тень дерева. Что она там высматривала?

В памятное деревенское лето, когда молва об Ульяне Артамоновой как о художнице облетела село, правление колхоза готовилось к юбилею. Председатель артели Бабошин, ветеран войны, специально пришёл к ним домой, чтобы удостовериться в мастерстве землячки. А увидев её работы, которые демонстрировал глава семейства, — а папушка не скрывал гордости, — председатель загорелся создать галерею деревенских передовиков. С галереей живописных портретов, понятно дело, ничего не вышло. Слишком мало оставалось времени до пятидесятилетия артели. Так объясняла Ульяна, чтобы скрыть свои опасения, — она была не настолько самонадеянна, чтобы взяться за ответственный заказ. Однако альбом к круглой дате изготовить пообещала.

В колхозном архиве нашёлся пакет с фотографиями. В нём оказались портреты, виды деревенских новостроек — коровников, сепараторной, клуба, а также жанровые и групповые снимки. Их пересылали фотокоры районной и областных газет. Среди прочих снимков особо выделялись работы московской выделки, куда ездили на съезды деревенские ударники.

Особо пристально Ульяна разглядывала фото довоенной поры, пожелтевшие и потрёпанные. Иные из них были подписаны, на оборотах других чаще значилось, что это, например, «звено полеводо» или «сводная бригада тов. Васильева на сенокосе». Информация была скудной, её порой не хватало даже для подписей. И тогда Ульяне приходилось обращаться к документам, чтобы уточнить даты, имена-отчества или хотя бы инициалы. А если и в документах не оказывалось более полных сведений, бежала к бабе Паладье,

порядовой соседке, их дальней родственнице и самому осведомлённому в деревне человеку.

Приземистая, высохшая, что бывалошний ве-хоть, как она себя характеризовала, Паладя была бабенья подвижная и бойкая. Несмотря на большие годы — а венчалась Паладя ещё перед Первой мировой войной — у неё была отменная память. Она хорошо помнила события самых далёких лет — и ту войну, и интервенцию («как англичана-те тут кобенились»), и коллективизацию, и новую войну, которая унесла мужа и трёх её сыновей. Только то, что было вчера, старуха напрочь забывала. «Ищи-свищи вчерашние поминки», — хмыкала она.

Перебирая старые фотографии, Паладя ткнула в одну из них заскорузлым крючковатым пальцем: «Гли-ко, Улюшка, это ить мати твоя. Ишо в деушках. Ишь, кака баска».

Перед объективом, когда предстоит групповая съёмка, большинство стремится к центру, чтобы попасть в поле зрения. Встают ярусами, ложатся на пол или на землю, это как уж доведётся. Ну кто не видел подобных снимков или не участвовал в такой съёмке?! Тут было похожее. Бригада человек в тридцать расположилась уступами. Верхний ряд, видимо, стоял на скамейках или, скорее всего, на брёвнах, средний — на земле, а остальные сидели или лежали у их ног. Все сгрудились кучно и даже — по распоряжению, не иначе, фотографа — развернулись вполоборота к середине. И только одна девушка стояла обочь, словно сама по себе. В кадр она, вероятно, не попадала. Но фотокор, видимо, что-то заметил в ней и то ли отошёл назад, то ли выпустил из кадра кого-то с другого фланга.

В семейном альбоме фотографий матери почти не было. Только случайные, среди других, прибранные, видимо, рукой отца или Рачки. И ни одного портрета. А тут фото юношеской поры, да к тому же в полный рост.

Ульяна молча глянула на Паладю. Та без слов смекнула, чего от неё ждут, и принялась вспоминать.

«Мати-то твоя тут уже сиротеей была. Да, деушка... О тридцатом годе церкви почали рушить. Батюшку нашего отца Егория с детушками прогнали. На телегу, бают, да в Сибирь... И стару веру — у нас ить много было таких — тоже... Дед твой, батька-то Пестимей, староста...

Да... Его первого с семьёй и увезли. А мати-то твоя — совсем девчурка была — на ту пору болела. Холера ли, тиф ходили... горит, огнём пышет, бедная, без памяти. Куда такую везти? Милицанеры и не взяли. Из бумаги вычеркали. Мол, и так околеет... А она — вишь ты как! — выжила. У золовки моей лежала. Та жоночка сердобольна. Своих-то Господь не дал, вот она и выхаживала... Пришла Пестенька в себя — ни мати, ни тяти, ни дома родного... Порывалась следом, да куда пойдёшь... Так и осталась у золовки заместо дочери. Обходительна, работаща да всё тишком. Ни словечка ить не обронит. И не пожалится, не поплачется. Будто окаменела. Вот кака мати-то твоя была...»

В колхозном клубе оказалась приличная фотоаппаратура, в том числе трофейный фотоувеличитель — дар кого-то из фронтовиков. Часть фото Ульяна пересняла и увеличила, некоторые фигуры выкадровала и обратила в фотопортреты. Портрет матери она сделала в двух экземплярах: один для альбома, другой для себя.

Уже на чужбине, в Норвегии, перебирая деревенские да студенческие фотки, Ульяна вновь наткнулась на этот портрет. В памяти мать сохранилась зрелой женщиной, а тут, спустя годы, она вновь предстала девчонкой. Ульяна глянула, словно впервые, и оторопела: у пятнадцатилетней матери и того же возраста Лариски было одно и то же лицо. Но особенно это подчёркивал взгляд.

Вот этот взгляд и явился к ней во сне.

19

Сын приезжал на побывку нечасто — раз в месяц, а то и реже. К тому же ненадолго — на сутки-двое. Да и то время с нею не засиживался, больше на стадионе да в спортзале пропадал, поясняя, что необходимо поддерживать спортивную форму.

Однажды, готовя Сергея в обратную дорогу, Ульяна положила в его ранец томик Кнута Гамсуна.

— Здесь роман «Пан», — пояснила она. — Место действия — Северная Норвегия, где твоя служба...

Что-то с сыном было не так. Он становился всё более жёстким и даже угрюмым. Возраст?

Может быть. Армия? Наверное. Но разве его отца армия ожесточила?

Игорь был сирота, детдомовец, лиха хватил с младенчества, а ведь сердцем не очерствел.

Сергей пошёл явно не в него, это становилось всё очевиднее. Но и не в неё, мать. Тут в чертах, повадках и нраве всё больше проглядывала бабка. Узкое, чуть скуластое лицо, острые глаза, насупленные брови, поперечная складка, твёрдые губы, волевой подбородок — ни дать ни взять Пестимея. Истехонная бабенка, сказали бы в деревне. А уж норовом и подавно: отвергнутый бабкой внук пошёл именно в неё.

— Эту книжку читал твой отец, — добавила Ульяна. — Ему она очень нравилась.

Хотела поделиться, что этот роман если не свёл их, то научил понимать друг друга, но почему-то сдержалась. После, решила, в другой раз...

Тот томик — ветхий, с ятиями — Игорь получил по случаю. А этот, довольно новый, Ульяна купила в российском консульстве, где была книжная лавочка. Всю обратную дорогу она, не отрываясь, перечитывала роман. Сцены книги мешались с собственной памятью, и трудно было отделить одно от другого.

Курсанты военного училища приходили в их художественное училище на танцы. Игоря она заметила сразу: высокий, стройный, лицо открытое, словно ветром распахнутое, — как было такого не заметить?! Но до чего стеснительный и оттого неуклюжий, неловкий, особенно в танцах. Да и она, тогда восемнадцатилетняя девчонка, сельская простушка, была не ахти какая воспитанная и образованная. Да ещё эти порывы: то вспыхнет, загорится вся, то холодом обдаст и сама не понимает отчего. Гуляют по улице, идут к Волге, кидают камешки — «блины едят». Кругом ширь, простор. Закат во всё небо. Привольно и хорошо. Сама не своя, она кидается Игорю на шею, от неизъяснимой радости жмурится, что-то шепчет, потом вдруг отталкивает от себя, бросает какие-то вздорные слова и убегает, оставляя его в недоумении и обиде... Через неделю новая встреча, ей хочется извиниться, приласкать его, а он стоит как памятник, как — сам потом признавался — штык проглотил. К концу свидания происходит примирение и тут же — новая ссора, а повод — глупость: несовпадение в оценке какого-то фильма. А эта нелепая сцена с патрулём... Ей почему-то втемяшилось, что сейчас Игоря заберут, и она вовлекла его в

бегство — в какие-то подворотни и дворы. И только потом дошло, что у него ведь увольнительная... Особенно было беспокойно в лунные ночи, в пору полной луны. Тут она не находила себе места, словно бился в неё морской прибой — то прилив, то отлив, то жар, то холод... А тут ещё Алиска Дворцова, однокурсница. Ей тожеглянулся Игорь, и она то и дело мешалась и ломала их, Ульяны и Игоря, и без того зыбкие и неустойчивые отношения.

Вот тогда и появился тот потрёпанный, ещё до революционного издания, томик. Игорь в тот вечер был какой-то особенно тихий и ласковый. «Возьми почитай, только ненадолго... Пару дней. У меня уже требуют...» Она прочитала роман за ночь. Судьба лейтенанта Глана и девушки Эдварды до того разволновала Ульяну, что, как, наверное, тургеневская барышня советской поры, она залила слезами всю подушку.

Лейтенант Глан, живущий в лесной сторожке на скалистом берегу, — охотник и рыбак. Эдварда — дочь лавочника и промышленника. Их пути пересекаются, сердца охвачены огнём, но любовь, возникшая меж ними, сгорает от невыносимого накала, словно вольтова дуга, где два стержня-сердца обугливаются, обращаясь почти в ненависть. Непонимания, несовпадения, обиды. Прилив-отлив. Прилив-отлив. И до разрыва, до гибели...

Кто знает, может, и между ними, Ульяной и Игорем, стряслось бы такое — разрыв и расставание, — если бы не эта история, о которой так удивительно поведал норвежский писатель. Книга стала для них не просто житейским уроком, она обернулась камертоном для их сердец и подлинным оберегом. Они словно повзрослели, одумались, настроились. От этого их обволокло нежностью, радостью долгожданного открытия и непреходящего обретения. Иногда он называл её Эдвардой, но только тогда, когда чуть напрягался, в чём-то хотел убедить, что-то донести, ведь он был старше её и, конечно, умнее, дальновиднее. А она очень часто называла его «лейтенант Глан», хотя до звания ему ещё оставался целый год.

...Сын вернул книгу спустя три месяца, когда в очередной раз прибыл на побывку. К той поре он перевёлся из норвежской армии в шведскую. Перепрыгнул, как он написал на открытке, через Скандинавские горы и в подтверждение, что ли,

выбрал горный пейзаж, снятый с высоты. То ли шутил, то ли и впрямь перепрыгнул. Ульяна уже ничему, кажется, не удивлялась: сын шагал семимильными шагами к какой-то определённой, но, возможно, и ему ещё неведомой цели.

Книгу он положил на комод возле пейзажа. Ничего не сказал, только прихлопнул ладонью, давая понять, что возвращает.

— Ну и как? — не выдержала Ульяна. Ей хотелось узнать, нет ли у него на примете девушки и как он думает устраивать дальнейшую свою жизнь. Сергей не ответил. Пожал плечами — и всё.

В шведской форме она его уже видела, правда, на фото. Эмблемы на рукаве там не было. Она знала, что он теперь служит в команде горных егерей.

— Что означает эта нашивка?

— «Свободный охотник».

— Да? — озадаченно протянула она, ожидая пояснений, но он не ответил.

«Лейтенант Глан тоже был охотник, — подумала Ульяна. — Но он был совсем иной по характеру. А что уж говорить о твоём отце, сынок!»

И всё-таки Ульяна ошиблась, вздыхая. Книга та отложились в судьбе её сына. Правда, не так, как ей представлялось. Когда пришло время выбирать псевдоним, Сергей назвалсЯ Гланом. Это было уже в Иностранном легионе.

20

К ая давно советовала переселиться в Швецию или Финляндию: теплее, дешевле, ближе к Европе. Ульяна кивала — может быть, — да не спешила. Однако когда Сергей перевёлся в шведскую армию, собралась в одночасье. Переезд проходил под девизом «Ближе к сыну». Это был аргумент и для Йона. Уже, кажется, всё для себя решив, Ульяна медлила с окончательным разрывом. И тут она не столько лукавила, сколько, возможно, щадила его: время лечит, даже если это время напрасного ожидания...

На сей раз она поселилась в Хапаранде — небольшом городке на берегу Ботнического залива и реки Торнио. На другом берегу реки, по сути устья её, находился городок Торнио, это была уже Финляндия. Туда, как и многие, Ульяна ходила за продуктами — там было дешевле, а Улья-

ну к тому же, а может, и в первую очередь, привлекал финский хлеб — он немного напоминал русский, хоть что-то осталось от имперских традиций. Железная дорога с широкой русской колеёй, протянутая до шведского городка, уже не использовалась, как и русский вокзал, и хлеб здесь был другого замеса, а соседи-финны хлеб творили по русской старинке.

С работой Ульяна особенно не спешила — жила одна, хватало норвежского пособия, которое исправно получала по банковской карте. Сперва обследовала оба городка, их ближние и дальние окрестности. Потом обратилась к историческим и культурным местам. В финском городке заглянула в тамошний музей и выставочную галерею. Ничего интересного для себя не обнаружила! Дизайнерские поделки, вторичная беспредметница, сюр — мрачный и эпигонский — и всё. Русские пейзажи, выставленные на продажу в шведской художественной лавочке, превосходили любую здешнюю картину, потому что за ними была профессиональная школа. Ульяна заметила эти пейзажи издали, но пришла посмотреть дня через три. Среди выставленных в витрине полотен — она это почувствовала на расстоянии — оказались работы земляков. Сердце порывисто забилося. И от пейзажей, родных и далёких, и от имён знакомых, даже лица возникли в памяти. Её опажнуло жаром. Она живо отошла и больше сюда не приходила.

Здесьняя публика была не искушена в искусстве, уяснила для себя Ульяна — и даже больше, пожалуй, чем в норвежской провинции. Фетишем был перформанс — этакий коктейль из музыкальных, визуальных и сценических наполнителей. Нечто не очень «съедобное», зато глубоко-мысленное — особенно если в среде культуртрегеров или газетных пиарщиков найдётся ушлый толкователь этого коктейля, этакий гуру, который будет поднимать палец и авторитетно произносить всего-навсего один звук: «О!»

Почувствовав конъюнктуру, Ульяна решилась попробовать себя в новом жанре. Сделала несколько перформансов и продемонстрировала их в холле местной библиотеки. Одна работа была навеяна поездкой в деревню Воякола. Эта деревня в давние времена была то ли общим новгородско-финским уделом, то ли даже вотчиной новгородского князя: в назва-

нии её сохранился русский корень (воя-своя), т. е. своя деревня. Ловля лосося тут ведётся по старинке, вероятно, с тех самых «свойственных» пор. Рыбу черпают сачками, виртуозно вода ими между порогов, как половником в кастрюле.

Что же придумала Ульяна? А вот что. Образом реки стала развёрнутая и натянутая парниковая плёнка. Снизу её оживлял ветродуй. Там в прозрачных капсулах бурлили, как пузырьки, белые шарики, низовая подсветка создавала блистание серебристых молний и игру теней. Всё это напоминало ход на нерест красной рыбы. Но торжество песни жизни обрывалось экологической катастрофой, которую олицетворяла острога. Чтобы усилить зрелище, Ульяна подобрала соответствующую музыку и поставила не что-нибудь, а Вагнера, который гремел в «Aposcalipsis now» — «Валькирии».

Перформанс Ульяны имел успех, о нём написали не только в городских — с обоих берегов реки — газетах, но и в региональных изданиях. А потом его использовало в качестве заставки для совсем не экологической передачи телевидение Норботтена.

После этого на Ульяну обратили внимание. Пошли заказы. Причём не только на инсталляции и перформансы. Она попробовала себя в драматических опытах. Для одной из таких постановок использовала подвальное помещение культурного центра. Здесь было чисто, прибрано и покрашено. А что привлекло внимание Ульяны — так это переплетения толстых вентиляционных труб, которые вились вдоль лабиринтов и переходов, как доисторические змеи и ящеры. Из этого упорядоченного технологического хаоса явилась картина Вселенной, в которой зарождается новая звезда. Сгусток энергии преодолевает лабиринты вселенского кишечника. Звучит соответствующая авангардная музыка. А всё кончается явлением детей — жёлтых, чёрнокожих, латиносов, одетых в пёстрые одежды. И как финал — Пасхальный гимн.

Что-то, видать, было в фантазийных работах Ульяны, коли стали поступать заказы. Немного помешкав, она открыла небольшое агентство, которое назвала по своей девичьей фамилии, только вычленив её части — «Арт Амон».

— О-ля-ля! — сказала на это Кайя, наведав-

шись к ней в гости. — Как говорят у нас в России, простенько, но со вкусом. — А при слове «Россия» она азартно подмигнула, дескать, знай наших.

21

В Данию они с Кайей доехали на автобусе, причём без пересадок: сели в Лулео, где жила Кайя, пересекли всю Швецию с востока на запад, доехали до Мальмё, а там по новому мосту через пролив Эресунн сквозняком пролетели в Датское королевство.

— Зачем едет в Данию обыватель? — философствовала Кайя. — Либо за запретными плодами — здесь ведь нравы вольные, не чета Скандинавии. Либо хотя бы за отметкой в «послужном списке» — дескать, и я там был, гашиш-травку курил... Но! — Кайя подняла палец. — Человек образованный... — тем же пальцем она коснулась своего лба, — человек начитанный... — она торкнула локтем Ульяну, — человек с интеллектом, — Ульяна ответила ей тем же. — Что он ищет в Дании? — Кайя понизила голос до свистящего шёпота. — Тень отца Гамлета...

Всю дорогу до Дании они разыгрывали шекспировские страсти. Ульяна приняла вторую роль — роль Горацио, а первую с видом примы захватила Кайя, она же главная затейница всех розыгрышей. Кайя картинно запахивала воображаемый гамлетовский плащ; на остановках глубоко-мысленно морщила своё ребяческое лицо, устремляя взгляд вдаль; а то поднимала какой-нибудь камешек и со словами «Бедный Йорик!» тоже картинно роняла его. «Почти Смоктуновский», — выходя из роли, заключала Ульяна и тут же почтенно склоняла голову, следуя не столько канону, сколько памяти о фильме.

В замок Эльсинор, точнее, то, что подразумевалось под ним, они попали в пасмурный октябрьский день. Ветер гнал рыжую листву, и она неслась, словно огненный пал, к подножию гранитного замка, грозясь спалить эти древние камни, однако никла, как волна, бессильная одолеть неприступные скалы.

Перед самым замком Кайя снова, раз в четвёртый, повторила то, что взбрело ей в голову ещё на мосту:

*Мимо острова Сальтхольна,
В царство Фели малахольной...*

Произнесла уже без начального восторга, что переименовала Пушкина, а скорее машинального, да, может, и винась, что столь фамильярно обошлась с главной героиней. А уж в самом замке, когда они соединились с группой организованных туристов, попритихла, озираясь по сторонам, а потом и вовсе приткнулась к Ульяне, ухватив её под руку.

Ветер, обуреваемый страстью, но у подножия замка сдерживающийся и притворно покорливый, здесь, в анфиладах и переходах, полнился такой неистовой силой, что создавал непрерывный гул, схожий с фонограммой фильма Козинцева. Может, режиссёр побывал здесь, готовясь к съёмкам, и сделал этот гул доминантой. А может, он не природный, этот ветер? Разве существует ветер, который ни на миг не стихает? Может, это искусная имитация? Может, в основе его — фонограмма русской экранизации? Или это гул из «Короля Лира»? Нет, он и в «Гамлете», и в «Лире». Только в «Лире» его больше...

Кайя многое помнила, даром что о Советском Союзе, в котором родилась, если не язвила, то отзывалась чаще с прохладцей. Однако тут ведь играли прибалты, в том числе актёры-эстонцы, а в «Лире» и на первых ролях.

Они шли следом за гидом, внимая его речи, но понимали не всё: многие слова уносило ветром. В толпе туристов выделялась какая-то странная женщина. Она была облачена в чёрное долгополое одеяние и чёрную шёлковую шаль. Нет, это была не мусульманка. После 11 сентября кругом мерещились шахиды и шахидки. Это была не восточная женщина. Шаль как раз и подчёркивала её белое лицо. Образ из Шекспира? Едва ли. Четыре королевских капитана, мерцавшие тусклыми латами, были прямой цитатой. А она — нет. Находясь в толпе, эта женщина казалась вне её. Вне толпы, вне мира, может, даже не от мира сего, словно воплощённый образ вселенской трагедии, то ли вымышленной, то ли грядущей, то ли явленной сейчас и здесь волей Создателя.

А потом, уже на стенах замка, на открытой галерее случилось и вовсе нечто зловещее. Ветер на миг стих, словно невидимый режиссёр сделал паузу, чтобы безмолвием подчеркнуть дальнейшее. Потом вдруг вновь взвился, заклекотал,

будто неведомый орёл, застав всех врасплох, в том числе, видимо, и ту загадочную женщину. Меж тем оказалось, что именно на неё и только на неё он и нацеливал свои незримые когти. Шёлковая шаль, сорванная с её плеч, взметнулась и взвилась в воздух. Новый порыв развернул её во всю длину, и этот свиток, как чёрный смерч, медленно поплыл по галерее, сопровождаемый замороженными взглядами.

Это длилось с минуту, не больше, но оцепеневшая толпа не шевелилась и после, когда видение уже исчезло. Даже записные говоруны и всезнайки, прежде галдевшие и снисходительно усмехавшиеся, стояли не шевелясь, так все были поражены! Кайя с Ульяной переглянулись. Кайя — снизу вверх и не отрываясь от подруги, Ульяна — сверху вниз и не менее озадаченно. Вот тебе и тень отца, словно читалось в их взглядах.

Потом, уже в автобусе, Кайя помаленьку пришла в себя и стала рассуждать, что это было: натура или перформанс? Говорила громче, чем обычно. Но Ульяна не сдерживала её: у неё самой был «отходняк», только, в отличие от Кайи, она погружалась в молчание.

А Кайю несло. Она продолжала на все лады гадать, какова природа увиденного. Ей хотелось верить в естественное и природное, которое то и дело смыкается с ирреальным, но, как представитель испорченной западной цивилизации, — она так и сказала, словно студентка Ленинградского университета, сдающая истмат, — не может поверить в натурализм происшедшего и полагает, что тут явно не обошлось без постановки, то есть технических средств и режиссуры.

Ульяне стал надоедать назойливый трёп, в конце концов она не выдержала и деловым тоном предложила вернуться, чтобы завтра повторить ту экскурсию. При этих словах Кайя вскинулась, метнула на неё испуганный взгляд, крепче ухватила за локоть Ульяны и прикрыла глаза: судьбу ни к чему испытывать дважды.

Кайя спала, свернувшись клубочком в автобусном кресле, а одной рукой по-прежнему держась за Ульяну. Ульяна же маялась, сон её не брал. Взгляд её блуждал по экрану телевизора, мерцавшему над сиденьями, перетекал на мокрое стекло, за которым в бусовой мути мелькали огоньки ферм, перелески, фонари городков, остававшихся обочь трассы, и снова возвращался к экрану, где показывали новости.

И вот тут между явью и полузабытьём возникла одна картинка. Увиделось или пригрезилось, Ульяна и сама не могла взять в толк, но в памяти это застряло.

Пески, барханы, клубки перекасти-поля. На переднем плане спина военного в песочного цвета камуфляже. Каска тоже в камуфляжной пестрядине. Автоматическая винтовка на ремне целит туда, где у подножия бархана темнеет наполовину засыпанный песком остов русской боевой машины пехоты; на остатках брони буква кириллицы и выгоревшая до тусклой желтизны эмблема ВДВ. По низу экрана титр: «К востоку от Кабула». Зной. Безмолвие. Тишина. Возле старого искорёженного железа высится саксаул. Он так же недвижим, как и ржавые ости БМП, как часть этих сухожилий... Но... В глубине остова вдруг мелькает тень. Отточенным движением военный скидывает винтовку, готовый ударить свинцом. Нет, тревога напрасна — это порыв затухающего самума вздыбил султанчик золотого песка, только и всего. Военный медленно опускает винтовку и делает шаг вперёд. Другой порыв завивает песок вокруг светлого армейского ботинка. Ульяна не мигая глядит в спину военного и явственно сознаёт, что это не кто-то, а Сергей, её сын.

22

С мёртвыми не поговоришь. Но и с живыми нет общения. «Привет!» — «Привет!» — «Как дела?» — «О'кей! А у тебя?» — «Тип-топ!» — «Ну, будь!» — «Пока!» Вот и весь разговор. А уж на расстоянии и подавно. Одни эсэмэски — корявая интернетно-электронная писанина с нарушением абсолютно всех правил грамматики и пунктуации.

То ли дело было в девятнадцатом веке, когда обменивались длинными обстоятельными эпистолами, изливая чувства и переживания, и этого вполне хватало для сердечной и родственной связи, даром что письма те доходили неделями, а то и месяцами. А что теперь? Время передачи информации уплотнилось до скорости пули, а содержания, тем паче чувства, в этих цедулях — пародиях на эпистолы — ноль целых хрен десятых.

Вот, по сути, в такой переписке была Ульяна со своей дочерью. Она-то, мать, пыталась дос-

тучаться до Лариски, вызвать на разговор, сердце ведь болело: как она там? о чём думает? что чувствует? и что за шаровая молния её шарахнула, что она так всё поломала, переиначила, если не сказать покорёжила, свою только-только начавшуюся жизнь? В любовь с первого взгляда и вообще в Ларискину любовь после того, что она натворила, Ульяна не верила. Однако внятного ответа даже на прямые вопросы получить не удавалось. Звонки Лариска блокировала. На обширные эсэмэски отвечала коротко: «Всё ок!» или «Нормалёк!» Единственно, что давало представление о её нынешней жизни, это фотографии, которые она иногда перекидывала. Вот она с Гарри в открытом джипе. Вот в седле, тут муж у стремени. Вот она на руках у Гарри, обнимает за шею и хохочет. А кругом поля, кони, коровы, ферма под красной черепицей.

Странно, но, глядя на эти сельские американские картинки, Ульяна почему-то успокаивалась: нет, девка не пропащая, перебесится когда-нибудь, если уже не перебесилась. Из таких ручищ — она смотрела на Гарри — едва ли вырвешься. А ещё испытывала смутную зависть. Нет, не по сильной руке. Будет. По коням таким, по коровушкам. Кажется, даже запах молока почудился — тот, из детства, когда мать отправляла её встречать Пеструнюшку, а потом, присев на низкую скамеечку, омывала тугое вымя, ласково, но уверенно бралась за дойки, и — в дно подойника, цвякая и гремя, ударяли первые струи...

Однажды Ульяна поймала себя на мысли, что всё чаще думает о родине — и о стране, и своём крае, и о деревне, это ведь всё было неразделимо.

Первый раз ностальгия охватила её внезапно и была как симптом простуды — спазмы в горле и быстрое-быстрое в течение нескольких секунд сердцебиение. Она так и восприняла это и, поспешив домой, встала под горячий душ, выпила колдрекс и легла под тёплое одеяло. И только после дошло, что у этой болезни другие истоки.

Она зашла в пригородный лес, чтобы побродить, подышать осенним воздухом, поискать первых багряных листьев. С детства любила бродить по лесу — и по летнему, и по осеннему, и зимой на лыжах... А тут зашла и вдруг почуяла отчуждение, словно попала в чужой дом. Не лес её отвергал, она его не воспринимала. Даже берёза, родная сестра той, что

золотом осыпала палисад и крышу отчего дома, показалась чужой, словно чужбина изменила её природу, как когда-то изменила родной природе она. Так подумала Ульяна. И себя почувствовала такой берёзой, оторванной от родимой почвы. Вот в этот момент и заколотилось сердце, словно птица, захлопав крыльями, и она испуганно схватилась за горло, чтобы удержать его.

С этого началось отторжение. Иным, чем дома, уже казался вкус молока. И вкус хлеба, который здесь пекли по русской традиции, вдруг перестал нравиться, и она стала воспринимать его как имитацию. Её стали раздражать здешняя чопорность, безмолвие в автобусах, где каждый сам по себе, и это назойливое напоминание о толерантности и политкорректности, когда важно одно, чтобы на виду всё было пристойно. Раньше она многого не замечала. Дети, муж, семья, круговорот жизни — задумываться об этом, сличать привычное со здешним было некогда. А если сравнивалось, то всегда со знаком «плюс» в пользу здешнего. А теперь всё стало меняться.

Стоп, сказала себе Ульяна. Когда это началось? После Ларки, когда она сбежала? Нет. Это началось, когда далеко и неведомо куда уехал Сергей. Проводив его, она не находила себе места. У неё никого тут не осталось. Пыталась уходить в работу — отпускало, но ненадолго. Вот в состоянии неопределённого ожидания известий от сына, в состоянии маеты она и отправилась в пригородный лес, где так внезапно забило сердце.

23

Мир тесен, а пути Господни неисповедимы. И хоть понимаешь это, уже не одиножды изведав вековую мудрость, всякий раз, когда житейский прибор сводит тебя с былым, испытываешь если не радость и удивление, то по меньшей мере оторопь.

Как-то в октябре Ульяна отправилась в Германию. Поехала одна — Кайя была занята на литературном семинаре в Оверкаликсе. Да и цель на сей раз была не туристическая, а сугубо деловая. Ульяне предложили оформить одно небольшое издание. Кайя при всяком слу-

чае называла для солидности — «книжный проект». Но на самом деле это была брошюра об опыте самоуправления в одной из сельских коммун Норботтена. Тем не менее Ульяна отнеслась к этой работе вполне серьёзно. И, чтобы освежить навыки оформления, поглядеть новые тенденции в издательском дизайне, она и отправилась во Франкфурт-на-Майне, где как раз открывалась очередная Европейская книжная ярмарка.

Книг, альбомов, брошюр, журналов, проспектов на выставке было половодье — просто глаза разбегались от пестроты и разнообразия. Перво-наперво Ульяна обследовала скандинавский сектор, поглядев по очереди издания Норвегии, Швеции и Финляндии. Сравнила их с немецкими. У немцев в целом оказалось строже, сдержаннее. Потом не удержалась — свернула к стендам и витринам России. Книги на русском не то чтобы обрадовали — удивили, до того были яркие и пёстрые, ведь она давно уже не держала в руках отечественных новинок. Авторы оказались совершенно незнакомые. Она пригляделась. Несколько открытых наугад книг внимания не привлекли: что-то либо заумное, донельзя эстетское, либо эстетически не выдержанное, даже неприятно отвращающее, либо мелкотемное, словно перебирание маковых семечек, либо скудное, убогое по языку. А классики родной тут — увы! — не было: ни Пушкина, ни Толстого, ни Блока... Никого. Только «Мать» Горького обнаружила, да и то на белорусском языке.

После первого приступа книжных редутов, который длился часа два, Ульяна сосредоточилась на прикладных изданиях, зачем и ехала сюда, причём выбрала сельский уклон. Кое-что ей приглянулось. Набрала буклетов, с разрешения служителей поснимала некоторые обложки на цифровую камеру, сделала пару-другую тут же возникших в воображении эскизов.

Ноги гудели, в глазах от пестроты красок рябило. Надо было наконец передохнуть. В поисках кафе или пиццерии Ульяна заглянула в раздел сопутствующих товаров, выбирая место потише да поукромнее, и тут в одном из закутков почти глаза в глаза столкнулась — кто бы мог представить! — с... Алисой Дворцовой. Она не обозналась. Это была действительно Алиска. Та самая однокурсница, которая чет-

верть века назад покорёжила её судьбу. Это Алиска, мечтавшая выскочить замуж за будущего офицера, первая «положила глаз» на Игоря. Это она злилась, что тот потянулся не к ней, а к Ульяне, и делала всякие каверзы, чтобы отбить, помешать их сближению. И это, наконец, Алиска написала своей старшей сестре, которая вышла замуж в их село, что Ульянка Артамонова загуляла, похоже, уже забрюхатела, а та, сорока-трещуха, живо раззвонила по всему селу...

Ульяна не обозналась, нет. Иначе с чего бы та, на кого она наткнулась, в свою очередь, так пристально уставилась на неё. Пауза затягивалась, держала её Ульяна. Шагнуть не шагнуть, пройти мимо или задержаться — это зависело только от неё. И она перешагнула. И через порожек, и через давнюю боль. Чего теперь-то...

Алиса, прежде полногрудая, щекастая, с годами подувала. Волосы, похоже, не свои — хороший натуральный парик каштанового отлива. Глаза попритухли, вся толерантная и правильная в соответствии с европейскими установками. Но природный кураж ещё держит, коли расслабится.

Они сидели в ближнем — рядом с ярмарочным комплексом — ресторанчике. По случаю неожиданной встречи и в знак мировой Алиса заказала бутылку «Бейлиса». Выпили, даже чокнулись. Затянулся разговор. Но говорила больше Алиса, ей, видать, это надо было. Курила, меняя сигарету за сигаретой, да говорила.

В Германии она уже десять лет. Вышла замуж. «Мой муж — mein mann» — она произносила как маман. Звать Гюнтер. Почти на два десятка старше.

— Но ничего, — Алиска хмыкнула, — ещё карабкается...

По жизни она занималась разным: преподавала в рисовалке, так она назвала die Schule, работала в рекламе, теперь вот третий год в типографии. Рисует по мелочи и, конечно, на компьютере. В основном бирки, ярлыки, ценники, упаковочную бумагу, иногда обложки тетрадей или блокнотов. О живописи не вспоминает — кому она нужна? Да и ни тяги, ни времени нет.

— Arbeiten, arbeiten, иначе не будет brot. А есть-то хоче! — Она скривилась лицом, не иначе изображая побирушку.

Тут раздался звонок.

— Легки на помине, — извлекая мобильник, предположила Алиса. Но звонили не с работы. То был Гюнтер — её «маман». Ульяна догадалась по тональности — слегка приторной немецкой скороговорке, на которую перешла Алиса. А потом и имя его мелькнуло. А потом и своё имя услышала.

Совсем недавно Ульяне попался норвежский журнал для русских. Одна статья в нём была посвящена интернациональным бракам. По свидетельству социологов, из ста русских жён в Германии только одна назвала свой брак относительно нормальным, десять — с трудом терпимым, а остальные — невыносимым. Неужто Алиска — та единственная?

Разговор с мужем, видимо, взбодрил Алису, приподняв её в собственных глазах. В них появилось заметное самодовольство и даже победительность. Но длилось это недолго. Заговорила о судьбе мужа — и улыбка снова истаяла.

— Гюнтик с сорок четвёртого. Фатер его по ранению оказался в Германии. Здесь, в фатерлянде, спехом женился. Девчонке едва исполнилось восемнадцать. — Алиса коротко взглянула на Ульяну. — Неделю и пожили. И всё. Снова — на фронт, а вскоре — похоронка. Погиб под Ленинградом. Представляешь, Уля, мой папка там воевал. Мой папка вернулся живой, а его... — голос Алисы сорвался, она подавилась всхлипом, — а его фатер...

Ульяну опохнуло жаром, но она обхватила себя за плечи, точно стало зябко. Окрайком сознания мелькнул Пётр Григорьевич: «А кто их звал к нам, этих немчужан?!»

Рука Алисы с зажатым окурком мелко подрагивала, другая, на столе, впилась в скатерть. Ульяна накрыла её ладонью. И тут Алиса не выдержала, опять всхлипнула и заревела. Не громко так, не во всю ширь, как голоса подчас горемычные русские бабы, рассупонившись во хмелю, а сжав зубы, почти безмолвно — тут ведь не принято так выставляться и тем самым нарушать орднунг.

— Ты прости меня, Улюшка, — тягуче шептала Алиса. — Прости за-ра-зу. За всё прости. Сволочь я, сволочь...

Пьяноватые, но искренние слёзы текли, не переставая, по её лицу.

— Да будет тебе, — отозвалась Ульяна и вдруг тоже заплакала, не утирая слёз, чтобы не

привлекать внимания, только прикрыла навесом ладони глаза.

О чём горевали две русские бабы посреди равнодушной к ним Европы? Об отлетевшей юности, о потерянном и уже невозвратном счастье, о кратком, ровно синичкин посвист, бабьем веке и ещё о чём-то, что словами не выразить, разве слезами излить...

Потом, успокоившись потихоньку, они снова выпили. Алиса досказала историю мужа. Гюнтер — круглый сирота. Мать его погибла в Гамбурге под бомбёжкой. Родила его и погибла, укрыв собой. С тех пор он не переносит даже шума, не то что грохота, а жить предпочитает в малоэтажных домах. Потому и семьи не заводил, остерегаясь плодить сиротство.

— Но, — тут Алиса усмехнулась и подняла палец, — если бы, говорит, ты встретила раньше, детей мы бы завели.

— Так у тебя нет?..

— Нет, — поджала губы Алиса и салфеткой промокнула размокшую тушь. — Дура была — не завела. А сейчас уже поздно. — Она вяло повела рукой и тут же перевела на другое. — Зато у сестры пятеро. У Зинки-то, — чуть виновато добавила она. — Да лучше бы... — осекла себя, недоговорив. — Парни гуляют, пьют. Да какие парни?! Мужики уж... Старшему за тридцать. Работы-то нет. В деревне всё разорено, а в лесу — сезонка. Пьют. Батьку не слушают, тот болеет, на инвалидности — лесинкой на делянке зашибло. А младшая дочка сеструхи сама в подоле притащила, хоть всего семнадцать...

Тут Алиса спохватилась: а твои-то как? Она ведь знала про детей Ульяны. Ещё тогда, дома. От сестры знала, от городских коллег. Ещё не каюсь, но и не злорадствуя, уже ощущая свою вину... А следом и про село спросила: давно ли, дескать, была? Вот тут-то и открылось то, что Ульяна давно для себя отрезала и о чём старалась не думать. Да как ещё открылось! Тем самым боком, который, как подовый камень, всё ещё греет, даром что печь уже остыла. Сестра Раиса — старшая сестра, которая для Ульяны сызмала была заместо матери. Вот о ней-то посередь Германии и получила Ульяна весть.

Алиса время от времени звонила в село, чтобы справиться, получила ли сеструха посылку и что ещё послать. Зинаида, вздыхая, рассказывала о горькой деревенской житухе и между

другими новостями — это было недели две назад — сообщила, что Раечку Артамонову отвезли наведни в областную онкологию.

24

Тут всё и прорвало, что копила та дамба, которую от веку возводит человеческая гордыня. Ни минуты не мешкая, Ульяна съездила к себе, скидала кое-какие вещи, паспорт российский, к счастью, был в порядке — самолётом до Питера, а оттуда — в свою двинскую вотчину.

Одиннадцать лет она не была на родине, двадцать с лишним в родной сельщине. От одного этого счёта впору было разрыдаться. Но сейчас такой привилегии у неё не было.

Из аэропорта Ульяна кинулась прямо в онкологический центр, благо он был неподалёку. Сестра, стриженная наголо, была как тень, — узнала её только по глазам, большим да грустным. В тот день Раечку как раз выписывали. Никто здесь и не скрывал, что помирать. Но Раечка почему-то улыбалась. «Домой, Улюшка! Домой!» — твердила она, словно перед ней был не край жизни, а целая вечность.

Дом, который рисовала Ульяне память, который рисовал по её рассказам Пётр Григорьевич, оказался далёко не таким. Он осел, обветшал, крылечко перекошилось, окна, давно не крашенные, скособоились, половицы в избе скрипели, матица в передней прогнулась.

С горем пополам затопили русскую печь — дрова оказались сырыми. Дождаться, когда она протопится, не стали, разживили плиту, чтобы что-нибудь по-скорому сварить.

Раечка принялась было убираться, да выходило это не очень складно. Сил у неё не оставалось даже для веника. Ульяна отстранила её, подмела и в прихожей, и в кухне, и в передней. Потом взялась за вехоть, помыла полы, сменив не по разу воду. Тем временем Раечка, повязав на голову косынку — «Чтобы не отсвечивать!» — принялась всё-таки готовить.

Привальное они решили отметить в передней — «как бывалоче». Там заранее затопили голландку. А по случаю встречи — долгожданного праздника — накрыли овальный стол набивной белой скатертью, а из буфета выставили самую хорошую посуду.

На комодке потрескивал старый «Рекорд». Областная телестудия показывала сюжет о нынешнем деревенском житье. Группа женщин, ещё не старых — не обмякших да не усохших, организовала спортивную секцию. Сыновья да дочки-горожахи привезли им велотренажёр, батут, кольца хула-хуп и прочий спортивный инвентарь. «Наводим фигуру», — слегка вызываясь, чтобы скрыть неловкость, заявила дородная жёнка. А другая добавила, что для тонуса, для снятия стресса — так и сказала — они завели тушканчика и морскую свинку.

— Ишь, чо-ка у нас дееся, — кивнула Раечка. — Ране с флягами тренировались да с подойниками... Да кросс на летнюю дойку. А ноне — эва! — херобику перенимают. Тыфу ты!

Она выключила телевизор и завела радиолу. «Когда б имел златые горы...» — вознёсся голос Руслановой. И этот голос, победительно чарующий, слегка надтреснутый, и звук гармоник почти мгновенно перенесли сестёр в прошлое. И вроде в передней зашуршали плисовые юбки, запозванивали медали, зацокало рюмочное стекло, как бывало это не однажды в осеннее половодье деревенского престольного праздника. Чуть зелена вина да много душевного разговора, ладных дружных песен да тихого, умиротворённого — от окончания летней страды — веселья.

Раечка замуж так и не вышла, прожила, опекая братьев да сестриц. Лучшие годы старшухи пролетели в заботах, домашних да колхозных, а потом и женихов деревенских уже всех разобрали. Сватались залётные, да как-то не сложилось — «металось, да не сшилось» — и прожила всю жизнь безмужней и бездетной. А ведь не из последних в девушках была.

Из буфетного шкафчика сестрица достала бутылку водки — какой-то диковинной, не иначе ещё перестроечной, кою окрестили в народе «коленвалом» или «лигачёвкой».

— А тебе можно? — озабоченно кивнула Ульяна.

— Мне, Улюшка, теперя-ка всё можно. — Раечка налила полные гранёные рюмки. — Со свиданьем, сестрёночка!

Раечка выпила водку, не поморщившись, не закусив. Она лишь обтёрла губы и тихо запела:

Там вдали за рекой догорали огни...

Ульяна взяла сестрицу за руку, подивилась, какая она лёгкая, рука у Раечки, горло перехватил спазм, она усилием воли подавила его, придвинулась ближе и подхватила. Так они и допели до конца:

*Ты, конёк вороной, передай, дорогой,
Что я честно погиб за рабочих.*

Ни единым словом и даже звуком не выдала Раечка своего состояния, тех болей, что крушили её высохшее тело. Только раз не то что попрекнула, а обронила, что в городах-то всё на готовенькое, живи себе в удовольствие.

— Ты-то там, в Парижах, — так и сказала. — А мы-ка здесь... Навоз, фляги да силос на вилах...

* * *

В первую ночь в родном доме Ульяна почти не спала. Двадцать с гаком лет не бывала здесь — шутка ли?! — почитай как совсем на новом месте. Какой уж тут сон! Лежала не шевелясь, сомкнув глаза, и прислушивалась. Как суставы ревматика, поскрипывали стропила, бревенчатые связи. Постукивала доска кровли, выбившаяся из-под гнёта прогнившего охлупня. Струйки дождя проникали в щели сруба и, казалось, текли по внутренней стороне. А сверчка не было, не стрекотал, — видать, покинул дом, устав напевать в ухо пустоте.

Под утро приснился Ульяне сон. Вроде как из детства, а похоже, и нет. Будто Раечка ведёт её, младшую сестрицу, на реку. На берегу они останавливаются. Раечка приседает, велит ей садиться на закорки. И потом, придерживая меньшую сзади, ступает к урезу. Им надо одолеть омут и перебраться на песчаную косу — там, в кулижках, на мелководье шныряют серебристые мальки, коих можно иметь подолом. Но вот что странно — омут пуст. Они идут по песку и будто погружаются в песок. Омут не широкий, уже должен быть подъём, а его нет. Зато другой край омута смыкается, будто кто задвигает огромный люк, и полоска света всё истончается и истончается.

Ульяна проснулась в испарине. Сердце стучало с переборами. Тихо поднявшись, она обула опорки — обрезки катанцев, накинула на

плечи старый вигоневый платок, видать, материнский, и вышла на крыльцо. Светало. От крыльца тянулась золотая от палой листвы дорожка. Вспомнилась другая дорожка — серебряная, это когда она с первенцем на руках шагала по смёрзшейся грязи, освещённой полной луной, и ронила в это серебро свои слёзы.

Скрипнула дверь.

— Раечка, — обернулась Ульяна.

— А я слышу — тебя нет. Сплю-то ныне чутко. — Старшуха накинула на плечи младшей одеяло. — Ишь, утренники-то пошли, в лягах — лёд. Стыло. Пошли-ка в избу. Простынешь не то. Слышишь, Улюшка!

* * *

На кладбище сёстры собрались на третий день. Раечка прихватила початую поллитровку, сунула в корзинку обливных пряников — с тем и побрели.

На повороте Ульяна оглянулась. Изба их родовая, с детства памятно наполненная голосами, стояла безмолвная и пустая. Ни души в ней не было. Все, кроме них двоих, перекочевали на погост.

— Во, Улюшка, гляди, — стылым голосом выдавила старшуха, когда сёстры пришли на место. — Семеро по лавкам, не иначе.

Ульяна глянула на череду крестов да пирамидок и окаменела. Сродники выстроились в ряд, как и ушли! Антон, старший брат, погиб на китайской границе. Отец — ему было чуть за шестьдесят — скончался в кардиологии. Геннадий, офицер химзащиты, — через год после Чернобыльской аварии. Сестра Лиза наложила на себя руки, когда в Афгане погиб её единственный сын. Вадима — он был врачом — доставили в цинковом ящике из Чечни. Мать, почти сразу вслед за Вадимом, разбил паралич, отошла, не приходя в сознание. Олег, Ульяны погодок, спился и околел, уснув под забором возле своего дома.

Вдоль кровного ряда Ульяна шла на подгибающихся ногах. Антона хоронили, когда она была ещё маленькая, но хорошо помнила, как плакал, не скрывая слёз, папушка и супилась мать, кусая угол чёрного гарусного платка. Папушка умер в областной больнице у неё на руках, но на похоронах её не было, он сам об этом просил, скорбя

и винясь. А остальные сродники все ушли без неё. Лишь запоздалые вести иногда доходили.

Раечка прошла вдоль могил вслед за Ульяной. Касалась рукой крестов да пирамидок и кланялась:

— Братик... Папа... Братик... Сестрица...

Миновав ряд, она шагнула дальше и очертила ребром ладони место:

— Вот сюда...

И медленно подняла взгляд. Он был спокойный и твёрдый.

— ...Ну а дальше, гляди... На деревенском кладбище просторно. Не в городах чай...

25

Раечка легла в то место, которое сама себе и определила. Это произошло как раз на Покров, едва выпал первый снег. Могила — глина да супесь — на фоне белого сеянца выглядела странно, как-то неправдоподобно и неправильно.

Недоумение, возникшее при виде разверстой среди белизны ямы, было привнесено в дом, куда тихой чередой возвратились те, кто провожал Раечку. Помянуть покоенку собрались редкие вообще, а в эту пору особенно, порядовые соседи, Раечкины товарки — бывшие доярки и телятницы да несколько помятых мужиков, коих ещё не доконала палёная водка. Поминальный стол готовила Манефа Гаревских, старшая Раечкина подруга. Конечно, не одна — с помощницами, но заправляла всем именно она — крепкая, осанистая, широкой кости баба. А чтобы всё вышло ладом да по-людски, Ульяна не поскупилась, накупила всего, что водилось в окрестных магазинах.

Поминали покоенку ласково и со слезой, искренне и сердечно. А Манефа даже заголосила по-старинному. Иные заплачки были столь стары по языку, что она прерывалась, спокойным голосом поясняя смысл и опять переходила на причитания. А напоследок пропела-проповела даже своё — так она пояснила:

*Ой, подружия моя ненаглядная,
Да на кого ты меня покинула?
Как мне жить-горевать теперича,
Сиротиной несчастной маяться?..*

Один из подвыпивших мужиков, видать проникшись общим духом, решил подхватить заплачку, но за неимением репертуара запел-закукарекал что-то разухабистое, и его без лишних уговоров живо выставили. Выяснилось, что это Манефин доможил — очередной примак. Тут же вспорхнул вопрос:

— А как же ты, Манефушка, теперь без мужика-то? Уйдёт ить...

— А, — отмахнулась плачя. — Надоел дак! Всё равно выганивать собиралась...

* * *

На девятый день грянул мороз. Не дожидаясь никого, Ульяна отправилась на кладбище одна.

Лёгкий снежный саван съединил-выровнял все могилы. Ей неожиданно вспомнилось детство. Так, бывало, они, детвора, лежали впокатку на полатах под одним семейным одеялом. А здесь...

— Одна, — вслух прошептала Ульяна, — совсем одна.

Никто не слышал её. Разве что заречный тягунок, что подпихивал в спину, словно норовя сронить в ряд, да тонкая рябина, что качалась в материнском взголовье. Слёзы размыли всё вокруг — ближние и дальние окрестности, а смерзаясь, замыкали веки. Зарёванная, она смотрела перед собой, ничего не различая. И чувств никаких не было — одна пустота. Ни чувств, ни мыслей, ни желаний... Казалось, если бы заречный ветерок был поупорней, то и добился бы своего, до того ослабла нить её жизни.

А ведь тягунок, похоже, услышал её. И слова её услышал, и даже мысли. Кульбит через голову — и он очутился спереди, крыло его легко смахнуло слёзы и высушило лицо. И тут до Ульяны наконец дошло. Не пихал он её в ряд. К другому побуждал. И она вняла. Она смиренно склонилась над могилой матери и испросила прощения. За всё, за всё. Тягунок стих, исполненный свершённым. Ульяна выпрямилась. И тут дрогнула рябинка, качнув алой гроздью, словно на неё порхнул невидимо-видимый снегирь. «Ма-ма», — выдохнула безмолвно Ульяна.

Долго стояла Ульяна у родных могил. Глядела вдаль, поднимала глаза к сизому небу, опять оглядывала окрестности, словно давала сродным душам полюбоваться родимым краем с житейского мирского насеста. С кладбищенского увала открывалась половина земли: приглушённая чернота вставшей реки, забелённые порошей песчаные плёсы и заречные пойменные луга, старая полузатопленная пристань, казённые амбары под берегом, на самом угоре покосившаяся деревянная церковь и прямая, как исписанный карандашик, колокольня, дальше — избы в два ряда, образующие одну — в километр, деревенскую улицу, а на другом краю и ближе к лесу — уже в дымке — скотные дворы, наполовину развороченные...

Глаза художника видят больше. Ульяне здесь и там открывались цветные пятна: деревня — чёрное серебро, река и окрестности — чистая графика. А ещё проступали акварельные пятна, словно кто-то слегка коснулся кисточкой белого листа: чья-то красная крыша, свежие доски заколоченных окон, пестрядиновые половики на верёвке, покосившийся, но ярко-зелёный забор... И совсем попростому Ульяна вдруг умилилась: какая же тут ширь, какая мощь и какая красота! Вот в такой красоте и шири до горизонта и жить надо человеку.

Эта мысль, словно чей-то шёпот, донесённый ветерком, метнувшись над могилами, с тех пор уже не оставляла Ульяну. До того она ходила как тень, жалась к печке, не в силах согреться в родном доме, а после девятого дня, похоже, стала оживать. Место её теперь здесь. Она здесь останется и будет его обустраивать. Возродить деревню, может, не удастся, но отложить смертный час её она, Ульяна, в силах. Это и будет памятью о родных. А начать это возрождение Ульяна решила с родного дома.

* * *

Она мыла, скребла, протирала и чистила. И не только полы, посуду, утварь, то есть самое привычное, но и стены, и потолки, и мебель. Буквально всё, заглядывая в каждый угол. К любому предмету, к каждой вещи она подходила едва ли не как музейный работник,

как исследователь: здесь ли стоит? из «той ли это оперы»? а как это было в её детстве и ещё до того — при прашурах? Мебель, утварь, отцовы ордена и медали, фотографии... — всё подвергалось исторической ревизии и устанавливалось или укладывалось на должное, на «свое» место.

В своей светёлке, настылой и нетопленной, Ульяна прибралась в последнюю очередь. Работала, облачившись в старую шубейку и Рачкины катанцы. Стёрла пыль, вымыла оконце, полы, сменив не одну подогретую воду. После неё здесь никто не обитал. Как притворили, так и не входили уже, не смея ни очистить, ни использовать даже для хозяйственных нужд. Поэтому переставлять тут Ульяне ничего и не понадобилось. У окна стол, рядом мольбертик — папушкино изделие, в простенке узенькая кровать, по стенам репродукции картин, которые она повесила в том счастливом после второго курса году. Иные из них — против окна — выцвели, а те, что на боковинах, ещё вполне смотрятся — и Дега, и Матисс, и Гоген... Поэтому стены только вымыла. А надумала обновить одним. Именно здесь, в светёлке, о которой она много рассказывала Петру Григорьевичу, Ульяна решила повесить его подарок — портрет дома.

Рамку для работы старик сделал сам, а про подвеску, видать, забыл. Ульяна обычно ставила картину на столик или на комод. А тут надо было её повесить. Прибивая гвоздики, Ульяна обратила внимание на верхний угол. В стыке планок что-то белело. Она взяла гвоздик и это нечто подцепила. Оказалось — клочок бумаги. Сердце почему-то забилося. Она развернула этот сложенный вчетверо листок — он был размером со спичечный коробок — и обомлела. Рукой старика на нём было выведено два слова: «Скорее Фирс».

— Боже мой! — выдохнула Ульяна, слепо нащупала стул и без сил села. — Сколько же лет прошло! Боже мой!

Она уставилась в окно, которое перед тем тщательно промыла, но ничего за ним не увидела, хотя оно выходило на речной простор.

«Скорее Фирс». Вариации на темы «Вишнёвого сада». В чужой стране как в забитой усадьбе. В чужой земле, среди чужих могил. А эта пауза! Какая невероятно длинная пауза! Ни один

театр не выдержит... А нынешнее их бытование — её, Ульяны, и его, Петра Григорьевича... какое-то зазеркалье по отношению к чеховской пьесе: он — там, она — здесь, то есть всё наоборот. И тут же осеклась. Нет, он не там, он выше, он воочию любит небесными красками.

Поднявшись со стула, Ульяна вернулась к задуманному. Гвоздики были прибиты и согнуты. Привязывая бечёвку, она то и дело косилась на листок. Фирса забыли — и листок не обнаружат... Так он, верно, думал, когда писал свою реплику. В душе Ульяны шевельнулась обида. Но не горькая, а какая-то щемяще грустная, которая плавно перетекла в вину. На исходе жизни Пётр Григорьевич жил одним: её, Ульяны, судьбой. А о нём, старике, они тогда не говорили. Так уж получилось. Она, Ульяна, свою боль сносила к нему. А Петру Григорьевичу не с кем было поделиться... Одно оставалось у него — картины. Ими он и лечил свою болезнь — неизбежную тоску по Родине.

— Ну вот и вернулся, — сказала вслух Ульяна. На душе у неё полегчало. Пусть так, одной неброской работой, старик и впрямь вернулся в Россию, ведь в этом пейзаже, простой русской избе, запечатлелось его состояние, последние токи любящего сердца. А коли так, эта работа, может быть, значительнее, чем многие из этих шедевров, что представлены в репродукциях. И в порыве благодарности и дочерней нежности Ульяна повесила картину Петра Григорьевича на самое видное место. Повесила, окинула её ласковым взглядом и совсем не придавала значения тому, над чьей репродукцией оказалась картина старика, запечатлевшая отчее гнездовье.

Пришла весна. Зиму, лютую стужу, Ульяна переждала в городе, сняв там квартирёшку. В деревне бывала наездами, когда отпускал мороз, да и то лишь проводить: старый дом — топи не топи — тепла не держит, никаких дров не напасёшься. А по весне, ещё река не строилась, перебралась уже окончательно и принялась за обустройство. Работала Ульяна и по дому, и в огороде, а ещё в поисках натуры бродила по окрестностям. Что искала её душа?

Ульяна задумала оживить пространство, этот земной уголок, где она явилась на свет, одухотворить его художественными средствами. Одной воплотить задуманное было не под силу. Требовались всевозможные умельцы — художники, дизайнеры, модельщики и просто мастера на все руки. Есть крыша над головой, будет стол, пусть и без изысков, но сытный. А что ещё надо творческому человеку, если его не покинуло вдохновение!

Первыми на зов Ульяны прилетели птицы. Загадели-застрекотали скворцы, обустриваясь в скворечниках. Едва прошёл ледоход, над Двиной закружились речные чайки, над крутоярами засновали ласточки-береговушки. А потом преположили гуси, утки, чирки, кулички...

Ульяна позвонила сыну: приезжай — и отдохнёшь, и поможешь. С дочкой переписывалась, но не приглашала, как и дочка не приглашала её. Впрочем, она бы и не поехала — сдалась ей эта Америка. Да и дочка сюда едва ли поедет. Тут она в неё, мать. Но пригласить-то, чёрт бы её побрал, могла!

На послания Ульяны откликнулись сокурсники — семейная пара с внуком; затем — несколько студентов, парней и девочек, которые были её подопечными в художественной школе, тогда совсем малыши, а ныне старшекурсники. Ещё к художественному табору прибились несколько мальчишек и девчонок из ближних деревень и, само собой, местные...

Одухотворить окружающее пространство — это задача для художников и дизайнеров. А смысл этого? Конечная цель? К чему же всё-таки вела Ульяна?

Ульяна решила использовать свой немалый творческий опыт — навыки художника, декоратора, галериста, создателя перформансов и инсталляций, чтобы привлечь внимание местных властей, а также партий и общественности. Её не оставляла надежда если не возродить, то хотя бы оживить родную деревню. И первым шагом, как подсказывал тот самый опыт, должна была стать презентация — смотрины её родимого уголка. Вот за этим Ульяна и скликала единомышленников.

Бригада мастеров и подмастерьев, руководимая Ульяной, трудилась дни напролёт, воплощая проекты своей закопёрщицы. К концу июня деревенские окрестности изрядно пре-

образились. Они напоминали вернисаж под открытым небом или театральные декорации. Из бросовых досок, гипса да мешковины было создано несколько декоративных рам, вроде огромных багетов, в одной из которых — Ульяна высчитала — к первой декаде июля должно было вставать солнце. В другом месте поднялись созданные из реек да светлого пластика дорические колонны — меж ними будет дивно смотреться короткий закат. Старые молочные бидоны, облепленные серебристой фольгой, должны были создать образ молочной реки, играющей под солнцем...

Много чего напридумывала Ульяна, готова смотрины деревни. Напечатала несколько газетных заметок, разослала персональные приглашения, накануне презентации в особо важные кабинеты сделала серию звонков. Чего она добивалась? Найти поддержку во властных структурах, причём не только района. От властей зависели субсидии, гранты, то есть деньги, а стало быть, и будущность деревни.

Увы и ах, чиновники не приехали — ни областные, ни даже районные. Отозвались художники, слетелись артисты, чтецы, музыканты, музейные работники. Собрались земляки, жители окрестных сёл. А власти не удостоили...

Ульяна была огорчена — она так надеялась! — но виду не подавала, занятая разворачивающимся действием. Из себя её вывело другое.

За несколько дней до презентации в окрестностях деревни появился человек, явно нездешний — среди местных и окрестных таковых не было. Он стоял на песчаном, слегка покрытом худородным ивняком островке, каких под деревней к середине лета открывалось несколько. Облачённый в долгий плащ или балахон, он опирался на суковатую палку и неустанно взирал на декоративные приготовления, которые захватили не только деревню, берег, но и песчаную косу, сомкнувшуюся с деревенским берегом. Незнакомец выстаивал в неподвижности весь дневной упряг, не меняя положения, только незаметно поворачивался вслед за солнцем. Весёлые студиозусы предложили вписать это явление в задуманный проект и даже названия стали придумывать: «Погонщик Времени». — «Было». — «Погонщик верблюда, который никогда не войдёт в игольное ушко». — «Длинно». — «Доктор Че-

хов на Сахалине». — «О!» — «Харон среди Леты». — «Тут что-то есть!» — «Харон, упустивший лодку». — «Ништяк!» — «Время без Харона». — «На хрена!» — «Хронос без Харона». — «Заумь!» — «Харон, утопивший обол»...

За час до полудня, начала презентации, неизвестный в дождевике стоял на том же месте, посреди реки. Ульяне бы отмахнуться, не обращать внимания, а она почему-то озадачилась, а потом и насторожилась. Больше того, её не так огорчило отсутствие чиновников, коих она ждала, сколько раздосадовало, вызвало тревогу, если не смятение, присутствие этого взирающего на её проект странника. У неё даже сердце закололо.

Удар колокола — знак начала действия — раздался в полдень. Ульяна машинально глянула на реку. Островок, на котором все эти дни стоял неизвестный, был пуст. Однако тревога и душевная смута от этого не исчезли.

27

Второй раз Ульяна была дальновидней. Она поняла, что такое нынешняя местная власть — администрация и пальцем не пошевелит, если не будет указующего перста или уже твои пальцы не сделают сулящего жеста. На сей раз она решила зайти с тылу. И вот что придумала.

В область зачастили скандинавские делегации — специалисты по местному самоуправлению. Приезжали финны, норвеги, но чаще всего — шведы. Не то их приглашали, не то они сами вызывались, однако цель у всех была одна — поделиться своим богатым хозяйственно-житейским опытом, и прежде всего опытом сельского мироустройства. Они ездили по северным деревням, оценивая условия той или иной местности — пастбища, водные ресурсы, дороги, транспорт... И если условия, на их взгляд, были подходящие, пытались создать там нечто вроде сельской коммуны, занять оставшихся на селе людей овцеводством, сыроделанием, разведением диких птиц и особо яйценосных птиц, например страусов. Такая трудовая деятельность могла приносить доход и закреплять людей в сельской местности. При этом заезжие миссионеры не только

помогали советом — для предприимчивых поселян, буди такие ещё не вывелись, правительства тех стран готовы были предоставлять технологии и даже первоначальный капитал.

На один из таких проектов Ульяна вышла. Это были представители Норботтена, той самой провинции, где она до последнего времени жила. Пригласила наведаться в свою деревню. Приглашение шведы приняли. Договорились о визите в начале августа. К той поре Ульяна планировала расширить оформление окрестностей, а уже созданные объекты обновить.

В июле в деревню из своей неведомой дали приехал сын. Он уже служил в Иностранном легионе. Сергею предстояла какая-то серьёзная командировка, и ему дали две недели отпуска.

Куда лежит его путь, Ульяна выспросить не посмела: сочтёт возможным — сам скажет. Хотела сводить на кладбище — поклониться могилам родственников, да остановил суеверный страх. Вот так и жила, боясь соединять прошлое и настоящее, не говоря уже о будущем.

Сергей доселе на родине матери не бывал, если не считать того дня и ночи в грудном возрасте, когда она принесла его под окна родного дома и получила вместе с сынком от ворот поворот. Потому всё здесь ему было внове и в диковинку, хотя внешне, как всегда, это и не проявлялось.

Сергей вставал на заре, в одних шортах босой носился туда-сюда по росному лугу, бегал по плёсам, делал немыслимые прыжки, кульбиты, перевороты, растяжки, кидался в реку, нырял, плавал, чуть передохнув, опять бегал, прыгал, боксировал, круша кулаками невидимого противника. Под вечер иногда ходил со спиннингом и пару раз притаскивал крупных шук. А днём Ульяна вовлекала его в свои приготовления.

Перед усадьбой на угоре Сергей сколотил стол и скамейки. Тут можно обедать, а при желании — и рисовать. А ещё предложил поставить навес, чтобы непогода не мешала. Ну а заодно сложил и простенький очаг, натаскав с задов бани старых кирпичей, а из оврага — деревенского карьера — глины. Приедут новые волонтеры, сварят сами, а кухня — вот она.

Глаза и руки сына искали работы. Ульяна попросила его сделать мольберты; но не те, классические на треножниках или подставах, а простейшие: крепкий еловый кол, на нём —

прямоугольник фанеры, а на фанере картон или лист ватмана.

— А зачем это? — уточнил Сергей, когда сколотил первый такой мольберт. — Если вбить кол даже до половины — до листа и то не всякий дотянется...

— Верно, — кивнула Ульяна. — Но мольберт этот не для людей...

— Для кого же?

— Живописцем будет... — Ульяна сделала почти театральную паузу, — ...будет ветер.

На сей раз Сергей не переспросил, а вскинул брови, дескать, поясни.

— Есть штативы, напоминающие автомобильный «дворник». Вместо щётки в них крепится маркер или фломастер или даже несколько карандашей. Двигаться они будут от малейшего порыва ветра. Расставим мольберты по самым открытым местам и — «Извольте, маэстро Аквилон, пожалуйста, мэтр Шелоник!»

Сыну затея матери понравилась. Он изготовил полдюжины таких мольбертов и вкопал их в облюбованные ею места. Только хмыкнул напоследок:

— А может, ветер и стрелять научить? Вот так же ствол приладить, и пусть по мановению ветра палит в белый свет, как в копеечку. Авось и попадёт...

Ульяна не ответила, только беспокойно посмотрела на сына. Как он изменился! Ничего ведь не осталось от вихрастого мальчишки, каким она вывезла его с родины. И тут опять заныло в груди: что же она наделала?!

Перед отъездом, чтобы как-то умягчить сыновье сердце, Ульяна показала фотографии Лариски. Сначала хотела открыть на мониторе — в ноутбуке скопилось множество. Но потом извлекла пачку отпечатанных и отобрала те, на которых, по её представлениям, не было показных взбалмошности, самодовольства и неприкрытого торжества. Сергей просмотрел снимки молча, на лице не отразилось никаких эмоций. Надо же, как он научился владеть собой! Даже по глазам не прочтается!

— Возьми, если хочешь, — предложила Ульяна. — На память...

Сергей вновь взял один снимок. На переднем плане стоял Гарри — муж Лариски. На нём была форма не то шерифа, не то национально-го гвардейца. Такие фото — в сомбреро и пон-

чо, в рванине пирата или перьях индейца — делают на всех широтах земли, особенно на пляжах. Они вызывают улыбку, у одних снисходительную — чем бы дитя ни тешилось... у других добродушную. Сергей не улыбнулся. Он вытянул снимок на длину правой руки и прищурил левый глаз. Рука при этом не дрожала.

Тут Ульяна уже не мешкала:

— Куда теперь, сынок?

Сергей достал из кармана компактный атлас и раскрыл развёртку Африки.

— Сюда. — Он ткнул пальцем посреди континента.

28

Предваряя приезд шведской делегации, в деревню, видимо по поручению свыше, наведались чиновники из района. Закопёрщицей тут была дородная, неопределённых лет особа, о коих говорят: кровь с молоком. Этак по-свойски, но не нарушая некоей дистанции, она сказала, что хотела бы поделиться недавними впечатлениями. В конце июня она побывала в командировке в Ленинградской области, и ей приглянулась идея «живой деревни».

— Представляете, — обратилась она к собравшимся в клубе сельчанам. — Одно хозяйство, а в нём несколько звеньев. Приезжают гости. Одно звено пироги печёт и угощает их чаем. Другое звено баню топит. На повети рыбацкой избы хозяин с подручными показывают старинные способы ловли...

При этом ораторша кивнула мужику, с нею прибывшему, и тот принялся перечислять снасти и их детали: мерёжа, бредень, кибацы, ботало...

— Вот-вот, — вновь перехватила бразды правления районщица. — И так далее. Правда, интересно?

— Дак чего на пальцах-то показывать! Нать ловить, тогда и смекнут, — встрял подвыпивший мужичок, новый доможил Манефы Гаревских.

— А и то, — тут же согласилась районщица.

— Да, — пробухтел прокуренно другой мужик. — Дадут вам бреднем ловить! Скажите ещё — невод раскинуть... А рыбинспекция!

— Договоримся, — повела могучей рукой чиновница. — Лицензию оформим на весь сезон. И

можем одно звено на реке поставить. Совместная с гостями-туристами ловля, а потом уха...

— Из петуха, — прокукарекал поддатый доможил, но его не удостоили вниманием.

Только Степанида, бывшая доярка, ровня Рачки, отвернувшись на реку, глухо обронила:

— Ране звенья по пожням да наволокам. Весной — навоз на поля, летом — сенокос в дальних чишенинах. А теперь, стало быть, пьянь разводить под ушное...

— Во-во! — хмыкнула Катюня, Манефина сестра. — С девахами заезжими...

— Ну зачем вы так, — с кокетливой укоризной — губки бантиком — сказала чиновница.

— Кто она? — коснулась Ульяна плеча Манефы.

— Да Танкетка, — ответила, не оборачиваясь, Манефа. — Ране в комсомоле руляла. Танька Рукосуева. Из заречья она...

— Каждая ваша изба, — Танкетка пальцем потыкала вокруг, — для приезжего — неведомый мир. Ой... — она припоминала услышанное на стороне слово. — Ойкумена. Предметы быта, утварь, сельхозинвентарь... Вот скажите, у кого есть хомуты, бороны и... что там ещё? Что было век назад?

Ульяна давно устроила на повети целую экспозицию. По одну стену стояли дровни, старые расписные сани, тележные колёса, на вешалах висели хомуты, дуга, упряжь, черессдельник, вожжи... По другую — вилы всякого вида и назначения, грабли, топоры, пилы — лучковые и поперечные. А ещё был рыболовный раздел — сети, мерёжи, камня-грузила, оплетённые берестой, берестяная же поплавь... Много было всего в Ульянином хозяйстве. Хотела было отозваться, да почему-то смолчала. Что-то не то слышалось в речах заезжей чиновницы.

* * *

Через неделю в деревню пожаловала представительная делегация. Верховодили здесь чины из области, следом шли районники, а замыкали процессию три шведские дамы, представительницы межправительственного фонда «Меридианы сотрудничества». Сопровождал иностранок переводчик, крупный, румяный и улыбающийся мужчина, рус-

ский, выпускник филфака ЛГУ и, как оказалось, едва не сокурсник Кайи. Мир тесен.

Первое слово дали гостям. Дамы говорили о сыроделании, о породах доходных коз, о льноводстве и ткачестве, то есть о многом из того, что испокон веков водилось в русской деревне, да веяниями отошедшего века — увы — поыветвирилось. Переводчик, звали его Валерий, доводил выступления подробно, иногда задавал дамам дополнительные вопросы, а затем давал уточнения на русском.

Потом слово молвила Танкетка. Она снова завела речь о «живой деревне», не чувствуя, что её представления о живом напоминают пьесу, которую предлагала ставить ежедневно вот этим жёнкам да мужикам. Станиславского только не хватало. Усмешливый ропот она не чуяла или пропускала мимо ушей. Будет небольшой доход, уверенно твердила Танкетка, — будут и инновации. Это словцо она катала на все лады и склоняла его как ляжет на язык: инновации, и инновация, возможно, имея в виду иностранные субсидии, и даже инноваций. Оно нравилось Танкетке.

Взяла слово и Ульяна. Она с болью говорила о разрухе — истреблены фермы, телятники, запущены поля и луга. Кругом всё затянуло ивняком. Без помощи, без организации ничего здесь с места не стронуть. Нужны средства. Одним из источников мог бы стать дом художников. Приезжая на пленэр, художники оплачивали бы жильё, стол. Оплата шла бы частично на возрождение села, а ещё они оставляли бы здесь по одной-две своих работы, которые составили бы деревенскую галерею. Ульяна говорила горячо, искренно. Но, глянув по рядам, особого отклика в глазах земляков не заметила. Не было его, того отклика.

Потом от президиума вышел чиновник из областного центра. К трибуне он не пошёл, а встал у края низенькой сцены. Остроносый, сухопарый, то ли усталый, то ли от природы хмурый, он подводил итог. Помянул все выступления, в том числе и Ульянино, оценив, что тут тоже есть рациональное зерно. При этом поднял палец. Потом заговорил про современный вектор развития села. Говорил, глядя вбок, в окно, за которым блестела река, а руки скрестил внизу, как футболист.

Резолюция сельского схода была длинная, но

малопредметная — в духе речей последнего генсека: усилить, ускорить, улу́бить.

Потом в деревенской столовой, которая давно не работала, но к этому дню её почистили, помыли, был устроен банкет. Его спонсировал местный бизнесмен — владелец сети деревенских продмагов, в своё время отсидевший срок за взлом торговых точек.

Гости пили осторожно, да и то больше мошошковую настоечку, сладенькую до приторности. Переводчик Валера принимал умеренно: у него продолжалась работа. Зато Танкетка и областной чин дорвались. Особенно чин, этот subtilный субъект. Откуда в этом остистом туловище столько прыти взялось. Пил, ел, обнимал жёнок. Сначала своих, потом принялся за шведок. Те ему явно не глянулись: не те округлости — не для горсти, а для щепотки, — да и податливости мало, так и топорщатся, отёсанные топором феминизма. Вернулся к своим.

Он попевал везде, этот областной аграрий, точно широкозахватный агрегат. В сумрачном уголке умудрился и Ульяну прихватить. Да она окоротила его, дав хорошую затрещину. Чин поморщился, но не обиделся. Только сказал, что она — дура. Это относилось не столько к отказу, сколько к её планам.

— Возрождать! С этими?! — он презрительно крутанул языком по дёснам, обнажив крупные жёлтые зубы, и цвиркнул. — Это же похороны, затажные поминки. — И, словно сам удивившись сказанному, почти всхлипнул. — У-у-уби-ли, суки, деревню! Убили, да ещё измываются! Дескать, вы уж спроворьте, обмойте покоекенку, саваном покройте, да покадите, да цветочков в изголовье, да свечечку в оберучие...

Так он говорил, этот областной чиновник. Его, видать, прорвало. И это, осознала Ульяна, были самые честные слова, которые в тот день прозвучали.

29

Письма от сына приходили нечасто. Начи-
нались они обращением, усвоенным им с детства: в ту пору вовсю крутили «Мамин-блюз» в исполнении «Бони-М». А заканчивались одной подписью: Серж Амон. Зато регу-

лярно приходили эсэмэски. Тут он подписывался тоже одинаково: лейтенант Глан. А вот обращался всякий раз по-разному: мой генерал, господин колонель, товарищ генералиссимус или мой капрал, понижая или повышая звание, видимо, в соответствии с уровнем настроения. Подробностей в этих весточках было немного. Да уже и то отраднo, что приходили. Жив-здоров. Много ли матери надо?!

Однажды они встретились с сыном в Израиле. Ульяна вычитала в Интернете, что в Хайфу требуется учитель рисования с классическим художественным образованием. Дело было зимой, и она не мешкая заявила. Ответ пришёл живо: русская школа рисования, как и балет, в мире ещё котировались. И тогда она сообщила свои координаты сыну. Впереди три месяца, неужели им не удастся встретиться, находясь на одном континенте?!

Эта поездка ознаменовалась тем, что в течение всего учебного семестра её обхаживал один еврей — выходец из России, которого вывезли на историческую родину в юношеском возрасте. Шлёма — так звали его — на третий день признался, что Ульяна — копия его первой любви, оставленной в Витебске. Через неделю он заявил, что Ульяна вновь вернула его в юность. А потом стал молить о взаимности, обещая порвать со всем, что у него сейчас есть, — с семьёй, традициями и обычаями, что она только ни пожелает...

Как потом язвила по этому поводу Кайя! «А крайнюю плоть он не обещал заштопать?» Ещё жёстче оказался Сергей. Дело было в ресторанчике. Шлёма подсел к их столику. Весь в себе, погруженный в свои чувства и переживания, он совсем не озаботился, как это выглядит. Сергей же воспринял это как бесцеремонность. Зажав меж пальцев одной руки мельхиоровую ложку, он согнул её, а потом точно так же без видимых усилий разогнул. Шлёме этого оказалось достаточно, он всё понял и ретировался. Но Ульяне было жаль его, этого нетипичного еврея, который тосковал не то по первой любви, не то по России, не то по всему вместе, что осталось в юности.

Сергей вырвался со службы на три дня. Они побывали в Иерусалиме, обошли все места, омылись в Иордане. Это были тихие, покойные дни, которые потом грели сердце.

В последний вечер — снова в Хайфе — они сидели на открытой веранде. Слева от Ульяны синели в дымке невысокие горы, справа — море, а у Сергея — наоборот.

— Не похоже на Норвегию? — не то спросила, не то сказала Ульяна.

В разговорах Сергей был, как всегда, немногословен, а подчас и замкнут, но тут его что-то встрепенуло.

— Ты, мам, там одного не поняла...

У него была привычка, осмысливая что-то про себя, начинать разговор с полуслова, точно предыдущее уже проговорено и собеседнику и так понятно. Иногда Ульяна схватывала всё на лету, с того самого полуслова, а на сей раз замешкалась, потому что предмет разговора остался далеко в прошлом. И всё же после нескольких фраз догадалась, о чём речь: книга Кнута Гамсуна «Пан», которую она предложила сыну несколько лет назад.

Сергей говорил чётко, предельно лаконично, и было понятно, что этот монолог — не порыв, а нечто давно осмысленное и укоренённое. Влюблённые молодые люди, Глан и Эдварда, совпадая в пространстве, не совпадают во времени. «Счастливые часов не наблюдают» почему? Потому что в такт бьются их сердца. А тут для счастья не хватает совпадения, словно кто-то не так ставит их часы. Кто же этот настройщик, который расстраивает сердечную механику?

Тут Сергей напомнил один давний разговор, точнее, рассказ её, матери, об его, Сергея, отце — их непростых поначалу отношениях, ссорах и обидах и заключил, что, в отличие от книжных персонажей, они, его отец и мать, сами настраивали сердца. А потому — тут он сделал паузу и глянул ей в глаза — она, мать, до конца и не поняла той истории.

Ульяна слегка приподняла брови. Ей не понравился этот тон, несколько поучительный, если не сказать менторский. Но не ссориться же было. Проглотив обиду — что с молодости возьмёшь! — она даже слегка улыбнулась, тем подбодрив его, дескать, ну-ну?! Да и любопытно было.

Те невидимые часы, расстраивая чувства влюблённых, вертел лавочник, господин Мак, отец Эдварды. В его планы не входила эта любовь: малоимущий лейтенант и его дочь, на его взгляд, не составляли пару. История ста-

рая как мир. А в основе её — жажда власти и наживы. Господин Мак искал себе зятя пусть не молодого, но обеспеченного. Только выгодно выдав (точнее продав) замуж дочь, он смог бы расширить торговлю на фактории, укрепить власть в городке и вершить здесь свою волю. Лейтенант заметил, какой он умный, то есть какой коварный, хитрый и опасный человек. Но одолеть эту невидимую, ускользающую, но злую волю не смог. И господин Мак, не испытывая душевного трепета, по сути погубил три человеческие души. Во-первых, Еву, не то дочь, не то жену кузнеца, которая, видимо, была наложницей Мака, но полюбила Глана и тем обрекла себя. Во-вторых, Эдварду, свою дочь, которая по его воле вышла замуж за богатея, а потом слала Глану покаянные, полные мольбы письма. И наконец, лейтенант Глан, который, потеряв любовь, стал искать смерти.

Сергей говорил возбуждённо, да что там возбуждённо — вдохновенно. Таким Ульяна никогда его не видела, даже в детстве. Не случилось ли чего подобного с ним?

Сергей нахмурился, отмахнулся: дескать, если и было, то в прошлом и, словно подосадовав, что мать перебила его, заговорил жёстче и резче, и рассуждал уже не столько о Маке — персонаже книги, сколько о коварной и двойственной природе лавочника. Его предок торговал в храме (Сергей мотнул головой) и был изгнан оттуда бичом Божиим. Его голос осел до шёпота. Где тот бич? Ведь нынче торгош захватил всё: власть, земные недра, воды и воздух, жизнь и любовь. Он около храма и в самом храме. Товаром ему служат святыни, разменной монетой — совесть и честь.

Глядя на Сергея, Ульяна тихонько вздыхала. Не впервые она сокрушалась, что плохо, совсем плохо знает сына. А оправдание было только одно: он мужает, развивается, это происходит в отлучке. Что тут поделаешь?! Такова жизнь.

Дочка родила. Ещё вчера, кажется, посылала фотки, где ничем ничего — ни в полный рост, ни боком, а тут вдруг огорошила:

родила, да притом двойню. Ульяна терялась в догадках: когда? как? И как тогда понимать те сброшенные по электронке фотки, что Ларка посылала на прошлой неделе? Они старые или дети худосочные, что беременности было не видно? Или... она так опять шутит? Была бы рядом — таких вопросов не возникло бы. Или даже далеко, но с живым разговором... А через этот сухой телеграфный стиль разве чего поймёшь...

В который уже раз Ульяна едва не запустила мобильник в стену — чёрт бы побрал это изобретение! — да вовремя одумалась: ведь стену-то молчания этим снарядом не прошибёшь, хоть и не броня. И в который уже раз, помянув мысленно Петра Григорьевича, сказала себе так: могло быть и хуже, а пока радуйся тому, что есть, может, и такого не будет...

Сдерживая слёзы, Ульяна нашла поздравление, мысленно пожелав, чтобы Лариска никогда не испытала того, что испытала и испытывает её мать. Захотелось узнать, как называли новорождённых. Эсэмэска пришла тотчас, точно была уже заготовлена: «Мальчика назвали Артур». Человек сторонний решил бы, что это в честь Овода, героя книги американской писательницы Этель Войнич, или короля Круглого стола... Только не Ульяна. Она-то знала, в честь кого. Это было имя Ларкиного отца, того залётного. «А девочку?» — слегка дрожащим пальцем набрала вопрос Ульяна. Ответа долго не было, словно связь и впрямь переключилась на телеграф. Наконец мобильник отозвался. «Ула», — читалось на экранце. И второй раз: «Ула». Но приглашения в гости так опять и не последовало.

Весь этот день Ульяна была сама не своя. То садилась к окну и смотрела на заречный лес, то подхватывалась и суетливо металась по избе, словно искала чего-то. Потом вдруг приходила в себя, бралась за мобильник, но, набрав пару цифр, тут же отключалась. То выходила на крыльцо, рассеянно окидывала окрестности, зябко ёжилась, хотя утренняя прохлада ещё не дожимала, и возвращалась в избу.

Хотелось с кем-нибудь посидеть, поделиться своей горькой, как рябина за окном, радостью. Но с кем? К соседке пойти, Манефе, так разговор с нею, пожалуй, не успокоит, а только ещё больше накалит душу. У Манефы какой уж по счёту примак-домошил, зато де-

ти-то справные: сын в городе шоферит, недавно женился, но каждые выходные — к маме; дочка — учительница, живёт с семьёй в дальнем леспромхозовском посёлке, но тоже постоянно навещается к матушке, а уж дети, внуки Манефины, всё лето при бабуле... А тут что?!

Ульяна поймала себя на том, что думает совсем по-бабьи, и сидит, кручинясь, враскорячку — тоже по-бабьи, как сживали от веку жёнки-горемыки, которых неведомо или ведомо за что наказывала судьба. Тут ей вспомнилась матушка, которая до последнего не отпускала её, ослушницу, от своей юбки. Калила сердце, пальцем грозила, аки боярыня Морозова. Увидев образную связь, Ульяна, бывало, ёрничала по этому поводу, как всякая поперечина. А тут-то, вспомнив, вдруг осеклась. А не узрела ли матушка в старопрежних книгах, что читала затвором в своей келейке, горевой судьбы своей дочери, её грядущего несусветного одиночества?! Не потому ли и корила её за ослушание, а мужа — за потачку? Выходит, видела и предвидела то, что стряслось с нею. Дочка за океаном, в чужих людях. А теперь вот и внуки... Сын неведомо где. Вернее, там, где война. А война теперь повсюду — и там и там, она покосилась на старую — своих ученических времён — карту.

Рука потянулась к мобильнику. Позвонить Серёже или хотя бы передать эсэмэску. Мол, поздравляю, ты теперь дядя, причём дважды. Да осеклась. Обрадуется ли этому сын?

Мужская психология, раньше казавшаяся понятной — до чего уж бесхитростен и открыт был папушка! — всё больше ускользала от её понимания. И особенно странно, да и досадно, что это происходило в отношениях с сыном, её кровинкой. Сергей не просто менялся, он отчуждался, его потаённая жизнь открывалась только в деталях: новый шрам на предплечье, мазок седины на висках — это в тридцать-то! — и этот вечный прищур левого глаза...

Она не стала звонить сыну — оставила новость до встречи. Может, к той поре Лариска фотки пошлёт, ведь интересно же глянуть на новых кровников: ей — на внуков, ему — на племянников.

Снимки действительно пришли. Ульяна вочию, пусть и заочно, увидела своих наследни-

ков. Девочка чертами походила на отца, то есть на фермера Гарри. А мальчик был в Ларку, точнее, в её отца, того залётного. У девочки на снимке стояла надпись «Мисс Америка-2030». А у мальчика — ни много ни мало — «Артур Маккормик — будущий президент Соединённых Штатов». Амбиции семейства Маккормиков с появлением в их стане Лариски, судя по надписям, возросли многократно. Поэтому Ульяна только усмехнулась. А как, интересно, воспримет это дядя?

Ульяна поджидала Сергея в начале осени — он сам говорил, что после африканской командировки ему посулили отпуск. Однако прошёл сентябрь, минул октябрь, а сына не было. Утешало одно, что регулярно приходили эсэмэски: «Жив-здоров» или «Всё о'кей!»

31

В начале зимы Ульяна отправилась на заработки в Скандинавию. Остановилась, как уже случалось, у Кайи — она по-прежнему жила в Лулео. И сразу погрузилась в работу.

Что её потянуло навестить Йона — она и сама толком не знала. Они были уже разведены — это произошло заочно. Каких-то особенно памятных вещей в том доме не осталось. А вещи, пусть и не особо поношенные, не представляли для Ульяны большого интереса: она никогда не была тряпичницей. Просто захотелось проведать, конечно, поблагодарить, наверное, попросить прощения. А ещё, пожалуй, показать эти фотографии — две славные мордашки, своих внуков. И тем, может быть, смягчить его сердце, чтобы не держал зла. И своё хотя бы немного успокоить.

Увы, картина, которую Ульяна рисовала в воображении, не сложилась. Сердце у потомка викингов оказалось не более защищённым, чем сердце среднестатистического русского мужика — даже и потомка витязей. Годное для битвы, для солёной мужской работы, оно не выдержало семейного разлада. Как у поэта, «любовная лодка разбилась о быт», так и их ковчег потерпел крушение, столкнувшись с неведомым вывертом природы, сотворённым хромосомами и обстоятельствами.

Пережить разрыв Йон пытался, но способ

для этого выбрал самый банальный, как и тот самый среднестатистический русский мужик. За злоупотребление спиртным поплатился службой. Теперь перебивался случайными работками. Подрабатывая на фактории, он научился от русских рыбаков нескольким словам. Небритый, опустившийся, Йон продемонстрировал эти знания почти с ходу. Причём не просто как набор звуков, а с полным пониманием смысла. Матерщина в России, ставшая, кажется, уже повсеместным звуковым фоном, здесь, в Норвегии, вызывала оторопь. А уж в устах человека, который ещё недавно в ней, Ульяне, души не чаял...

Что скрывать, была у неё тайная мысль остаться здесь подольше. Раньше она этого сделать не могла — всё было свежо и невыносимо. И когда подавала на развод, всё ещё не пришла в себя. Но теперь, когда осталась совсем одна, захотелось что-то исправить, может быть, подлатать тот ковчег, ведь были же они в нём счастливы.

И вот... встреча. И непотребные слова в лицо. И искривлённые непривычной артикуляцией губы. А она-то строила планы. Горько! До чего же горько! А ещё странно. Ведь ещё не так давно он, Йон, учил её остойчивости. «Держи горизонт!» — твердил он. Повторял раз за разом, словно заклинал. И думалось, не было сомнения, что сам-то он держит горизонт. А выходит, нет. Или же держал до поры, да не выдержал. Но отчего? Неужели причина — развод? Неужели та формальность подкосила? До той поры была надежда, что она, Ульяна, вернётся, ведь и вещи оставались, и звонила, и разговаривала... А тут, выходит, всё?..

Опоздала. Ульяна почувствовала это с порога. Опять опоздала. Вся отдавшись судьбам непутёвых детей, она упустила из внимания Йона. Йон спас её много лет назад, взяв к себе. Он единственный откликнулся на её объявление, напечатанное в межрегиональной русско-норвежской газете. Не побоялся «хвоста», смело протянул руку, открыл свой дом, обогрел, обласкал. А она...

Как же затмила глаза та мерзкая сцена. Весь свет, кажется, померк. Упёрлась в эту стену мрака — и всё, словно прежде ничего и не было: ни умиротворения, ни радости, ни счастья. Неблагодарная, бесчувственная, бессердечная

— корила себя Ульяна. Изводила и кляла себя самыми распоследними словами, только что не била по щекам, дескать, вот тебе, вот тебе, вот тебе! Но при этом в доме не осталась, не попыталась дожидаться утра, напроць забыв русскую поговорку «Утро вечера мудренее». Зато опять вспыхнула. Заслышала ненормативную русскую лексику с норвежским акцентом и вспыхнула, точно доселе знать таковую не доводилось...

32

В смятенных чувствах вернулась Ульяна в Лулео. Кайи дома не оказалось. Открыла двери — записка: «Вернись через день. Надо подменить заболевшего дятла. Чайка». Кайя, как всегда, шутила, словно предвидя настроенные подруги. Ульяна слабо улыбнулась, отдавая должное. Потом, не раздеваясь, села в кресло и заплакала. Тихо так, поскуливая, словно брошенная Каштанка...

Наплакалась Ульяна, повсхлипывала — и вроде легче стало. Обвела мутным взглядом комнату, собралась уже встать, и тут раздался звонок. После, восстанавливая последовательность тех минут, Ульяна вспомнила, что, прочитав записку, она хотела скинуть пуховик, разуться, затем принять душ, то есть совершить ряд привычных бытовых действий. Однако какая-то неведомая, но настойчивая сила посадила её в кресло, заставив снять напряжение последних суток, а затем во благо отворила слёзные заплоты. Ведь если бы не было этих распускающих закаменевшую душу облегчающих слёз, тот звонок мог и добить её...

...Кайя вернулась вечером. Ульяна сидела в кресле, так и не раздевшись, и не мигая глядела в стену. Приход Кайи она, возможно, отметила, но взгляда от той невидимой точки оторвать не смогла, настолько сильным оказалось оцепенение. Что-то стряслось — Кайя смекнула это сразу. Тихонько раздевшись, она подошла к Ульяне, присела на корточки и взяла её за руку. В озябших — с улицы — ладонях рука Ульяны казалась ледяной. Тут главное было не спешить, не паниковать. Кайя поглаживала попеременно руки Ульяны, что-то прищёпывала, меж делом укутала её пледом, даром что

Ульяна по-прежнему была одета. Потом разудала её, надела на ноги шерстяные чуни — она называла их сибирками, а то декабристскими катанцами. Потом мягко поводила по ушам, по щекам, коснулась лба, словно снимая докучную паутину. И тут Ульяна пошевелилась, наконец-то оторвала свой оцепенелый взгляд от стены и уже осмысленно посмотрела на Кайю. Кайя уже поняла:

— Сергей?

Ульяна кивнула. В глазах её сквозила беда.

* * *

Тот звонок был из штаб-квартиры Иностранного легиона. Мажорный женский голос, последовавший за бравурными позывными, принадлежал пресс-секретарю.

— Я говорю с мадам Ульсен?

— Да, — отозвалась Ульяна. (Разговор шёл по-английски.) — Что случилось?

— Ничего особенного, мадам Ульсен. Сообщение от господина Глана. Это была проверка линии. Через пять минут мы вновь с вами свяжемся. До скорой связи.

Ульяна недоумённо посмотрела на мобильник. Сказала «до связи», а сама не отключилась. Уловка? Едва ли. Скорее всего, забылась, отвлечённая кем-то. Ульяна машинально прижала аппарат к уху. Два мужских голоса обсуждали формулировки информации и допустимые её пределы. Ульяна насторожилась, вся уйдя в слух. Речь шла о подразделении, в котором служил сын. Во время патрулирования они попали в засаду. О том успел доложить радист. Потом связь оборвалась, но стрельба ещё доносилась.

— Что с моим сыном? — закричала Ульяна. Вероятно, секретарша заметила свою оплошность и отключилась. Но минуты через две мобильник вновь зазвонил.

— Госпожа Ульсен, не волнуйтесь. Ситуация под контролем, — затараторила секретарша. — Ваш сын жив. Временно прерывалась связь. Сейчас она восстановлена. Всё в штатном режиме. Всё в порядке. До связи, госпожа Ульсен.

Однако и на этом связь не оборвалась. В трубке раздался мужской голос — говорил один из тех собеседников.

— Госпожа Ульсен, прошу извинить, — он кашлянул, — за... бестактность. Вы вправе иметь полную информацию. Ваш сын жив. В этом можете не сомневаться. Но он находится в плену. Мы прилагаем все усилия для его скорейшего освобождения. Поверьте. Вот то, что возможно сказать на этот час. Ещё раз извините. Всё будет хорошо. Верю и надеюсь. Точнее, надеюсь и верю.

* * *

Ульяна засобиралась домой. О работе, о зарплатах не могло быть и речи — всё валилось из рук. Домой! «Хоть на карачках», — твердил Пётр Григорьевич, вот так и она. Дома и стены помогают, тем паче стены родного дома. А ещё Ульяну слёзно потянуло в родной храм — в тихую русскую церквушку, чтобы там, у икон, вымолить своему чаду пощаду и спасение.

Балтику Ульяна пересекла самолётом, а из Питера отправилась в свою архангельскую сторону поездом. Колёса стучали заунывную песню. Глядя на белые снега, которые рано меркли под декабрьским небом, Ульяна вспоминала минувшее лето, точнее, канун отъезда сына. Он показал карту, а на ней место, куда предстояло ему отправляться. «Надо же! — задавливая страх, отозвалась она. — Это же места, описанные Гумилёвым. Был такой поэт. Дай вспомню...» Ульяна читала на память стихи, медленно перебирая губами строки, а сердце обмирало, и она боялась только одного — лишь бы не разрыдаться. А здесь, в поезде, ей уже не надо было таиться и сдерживаться. Что предчувствовала — стряслось. Она только отвернулась к окну, которое совсем уже померкло, и стала снова вспоминать памятные строфы. Читала теперь про себя, а огоньки за окном вагона всё размывались и размывались, пока совсем не потеряли очертаний.

*Сегодня, я вижу,
особенно грустен твой взгляд,
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.*

*Ему грациозная стройность и нега дана,
И шкуру его украшает волшебный узор,
С которым равняться*

*осмелится только луна,
Дробясь и качаясь на влаге широких озёр.*

*Вдали он подобен
цветным парусам корабля,
И бег его плавлен,
как радостный птичий полёт.*

*Я знаю, что много
чудесного видит земля,
Когда на закате
он прячется в мраморный грот.*

*Я знаю весёлые сказки
таинственных стран
Про чёрную деву,
про страсть молодого воеводы,
Но ты слишком долго
вдыхала тяжёлый туман,
Ты верить не хочешь
во что-нибудь, кроме дождя.*

*И как я тебе расскажу
про тропический сад,
Про стройные пальмы,
про запах немислимых трав...
Ты плачешь?
Послушай... далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.*

Ульяна не отступила и довела стихотворение до конца, словно исполнила некий обет. Но странное дело, дважды сбивалась на одной и той же строке. Вместо «изысканный» твердила «пленительный» и ничего не могла с собой поделать. Потому что так наставляли колёса:

пленительный бродит жираф...
пленительный бродит жираф,
пленительный бродит...

Мобильник тоном перегруженного трансформатора проуркал сообщение. Оно, скорее всего, поступило с номера сына. Одна-ко Ульяна не торопилась его открывать.

Когда такое произошло через день после разговора со штаб-квартирой Иностранного легатона, она аж вскрикнула. «Серёженька! Мальчик мой! Жив!» Сообщение было короткое: «Всё о'кей. Служба идёт. Лейтенант Глан». Ульяна тотчас связалась с Парижем, дескать, что же вы говорите?! Вот же эсэмэска; всё у него в порядке, никаких причин... Увы, её ожидало разочарование. Тот самый военный — полковник Санти — хорошо поставленным и в меру предупредительным голосом — объяснил, что в среде их военнослужащих существует правило: отправляясь в командировку, они набивают тексты эсэмэсок, а таймер с заданной периодичностью их «выстреливает». Вот так, видимо, обстоит дело и с эсэмэсками лейтенанта Глана. Что же касается реальности, то новостей пока нет. Но как только они появятся, штаб-квартира немедленно известит об этом госпожу Ульсен.

Ульяна отрешённо глядела на мобильник. Подсветка давно погасла, но текст читался.

И она всё ещё не верила, никак не хотела верить, что это техническая уловка, что это не сын несколько минут назад набирал текст, а сработал счётчик, который послушно и, точно автомат мороженого, выдал порцию утешения. Отщёлкав череду сообщений, Ульяна стала их последовательно перечитывать, пропуская эсэмэски дочки. И что же оказалось? Тексты сообщений от Сергея варьировались четыре раза и поступали на её мобильник с периодичностью в три дня. Колонель Санти оказался прав.

Странное дело. Сын никогда не лгал. Либо молчал, не выдавая правды, либо выкладывал всё без утайки. А теперь, выходит, слукавил. Лукавство во благо, обман во спасение — так это, кажется, называется.

* * *

Деревня встретила Ульяну снегами и стужей. В избе было стыло, как на улице. Она с трудом разживила печь и так возле заслонки и сидела, подставив огню спину. Её знобило. И от холода знобило, и от бесконечного ожидания. Она никак не могла согреться, сколько ни куталась, ни пила чаю. Лишь к вечеру на печи в овчинных ворохах да уже отдающем печном тепле Ульяна немного оживела.

Вот так же много лет назад она лежала на печи у бабени Паладьи, которая приветила её с грудным Серёжей. Серёжа сопел, не ведая ничего о том мире, в который явился. А она, уже многое изведавшая, тихо и беззвучно плакала.

На просторную — для большой семьи — печь забралась бабенья. Умостив на тёплых камнях старые косточки, Паладья завела разговор. У гостюшки горе: родима матери на порог не пустила. Чем подсобить? Как утешить? То о своей юности, замужестве баяла — там всякое бывало. То о дочках да сыновьях... А напоследок, смекнув, что боль Ульянину снять не удастся, надумала, старая, растворить её в общем котле.

«Эко, деушка, чего творится ноне. И не война, кабыть, а всё будто гражданска... Воюем да воюем... Али порода у нас, у русских, така — всё сердцем, всё нутром?! Калим друг дружку и калим. Всё, вишь, по правде нать, даром что та правда витая да гнутая, что вон батог вересковый... Девка парня не полюбила али, хуже того, разлюбила — он ружьё в рот и пулей-то полголовы... Али што страховитей — стрелит под ейным окном, чтобы уж разом и её... Али батька, бывает, — лихоимец, всю родню в кулаке держит, пикнуть никому не даёт... А то — сын наперекор батьке, чуть что — за вожжи, а опосля — и за вилы... Свекрови невестка не пришлась — поедом будет есть... Зятю тётца поперёк — он на жену с кулаками...»

Бабенья тягуче вздохнула, явственно переживая представленные и, видать, памятные картины.

«Кажись, чего надо! — продолжала она. — Всем ить места хватит. Земля-то вон кака! Отойди — не теснись. Здесь — твоё, здесь — моё, здесь я царю, сюда без приглашения не ходи, но и я не ступлю на твоё. Дак и что? Да в заводе такого нету. Всё боем, всё горячкой... А конец один — али тюрьма, вон на Сахалин ране гонили, — али смерть...»

Старуха поворочалась, не то обминая лежанку, не то дожидаясь отзыва, а потом, словно спохватившись, что в неурочный час нагнала того более мраку, принялась себя очурывать.

Нет, не везде так. Сохранились ещё остатки добросердечных племён, кои лелеяли свой лад в глубинах тайги, по далёким приемным речушкам, петляющим среди болот да буреломов. Там, в стороне от торных путей, они вы-

нянчивали свои вековые правила, по которым старому почёт, а молодому планида. И оттого вырастали от веку покладистые да степенные мужики и ласковые да многородные жёнки. А доброхотство это передавалось из колена в колено, не растрчиваясь. И туда норовили отдать замуж девушек, а то и парня в примачи посылали.

Голос Паладьи окрасился ласковыми попевками, будто отведала из родника живой водицы. Да сама же опять и пригласила его. Ведь не осталось, считай, такого доброхотного семени даже и по нашим северным окрайкам. Вымерла реликтовая порода. Одних красным палом сожгли. Других война скосила. А доконала то древо богоданное, заразив и выточив сердцевину его, уголовная шашель, что высеялась из многочисленных лагерных зон...

Напоследок, уже засыпая, Паладьа тихо обронила:

«Ты на мать-то не сердчай, Улюшка. Мать дак... Теперича сама мати... Опосля поймёшь...»

А в утрах, уже на крыльце, подав узелок со снedyю, старая Паладьа благословила её:

«Окрести ребятёнка, Улюшка. Как уж там... а окрести. И сама окрестись».

И ночью, и в утрах Ульяна слушала бабеню, а вроде и не слышала, убитая горем. У неё погиб любимый, отец новорождённого. От неё отвернулась мать, а значит, и вся семья. Сердце плакало от тоски и каменело от обиды. А выходит, всё осталось, сбереглось в памяти и душе, коли сейчас, на печи, она вспомнила то, что слышала тридцать лет назад.

* * *

Известий от сына по-прежнему не было. Сообщения из штаб-квартиры, хотя и регулярные, разнообразием не отличались: «Лейтенант Глан всё ещё в плену», «Ваш сын жив, госпожа Ульсен, тому есть подтверждения», «Мы всё держим под контролем, мадам Ульсен...» А эсэмэски «от сына», поступавшие по воле таймера, взрывались, как бомбы с часовым механизмом. Ульяна их ждала, в ожидании напрягалась, а они всегда настигали врасплох.

Долго не решалась Ульяна сообщить о беде до-

чери. Остерегалась, что Ларка отзовётся чем-нибудь поспешным, поверхностным, а то и фривольным, едким или пошлым. С неё станется, ведь язык у Ларки без костей: брякнет — не задумается. А зачем ей, матери, такие слова, которые ранят и без того усталое сердце.

Ульяна ошибалась. Неожиданно для себя она получила от дочери поддержку. Сказать, что в той эсэмэске было много сочувствия и сострадания, она не могла. Но текст свидетельствовал о волнении: не два-три слова — целых пять предложений. Такое было впервые. Ульяна исследовала эсэмэску, как врач рассматривает кардиограмму. Она вчитывалась в слова, оценивала их порядок, анализировала, что находится между ними. Первое ощущение её не подвело, потому что следом — не в ответ даже — пришла ещё одна эсэмэска. Дочка сообщала, что ездила в соседний штат, где есть православная церковь, и заказала молебен, естественно, о здравии. Ульяна до того растерялась, что даже не нашлась, что ответить. Отбила, с трудом различая буквы на мобильнике, только два слова: «Спасибо, доченька!»

Сама Ульяна молилась о сыне непрерывно. Она ездила в монастыри — Сийский, а потом дальше — в Веркольский. Обошла все окрестные церкви, где теплился огонёк веры. Не по разу ездила в областной центр, где стояла на службе во всех храмах...

А ещё она стала навещать свою — разорённую и осквернённую — деревенскую церковь. Затепливала свечу, раздвигая церковные потёмки, которые отягощал зимний сумрак. Ставила перед собой маленький складень и молилась. А помолившись, принималась за уборку. Хламу в поруганном храме было немерено. Битый кирпич, обломки и обрезки досок, остатки земли от картофельных клубней, мешковина, куски толя — чего там только не было, чего не скопилось за годы беспамятства. Даже бюст Ленина, покрытый серебром, лежал.

Уборку в храме, как и приборку в доме, Ульяна повела методично. Освобождала один придел, потом другой. При этом не просто вытаскивала мусор и хлам наружу, а сортировала. Кирпичи, которые могли пригодиться, выкладывала возле стены, также отбирала доски. Негожее сносила в яму, где когда-то находил-

ся ледник, а горячий хлам складывала в костёр, чтобы потом спалить.

Своей службы Ульяна не оставляла и в самые лютые морозы. Несмотря на стужу, упорно шла в храм. Молилась и работала. Работала и молилась. И так ежедневно.

Ближе к весне, когда маленько потеплело, Ульяна принялась за двери да рамы. Где скобелем, где рубанком, где топором — художник ведь любым инструментом должен владеть, даже если у художника женские руки. А она к тому же — деревенская. Навыки нательной работы — от папушки, да и материнское наследие в руках не иссякало. Даже стёкла стала вставлять.

Деревня на хлопоты Ульяны глядела молча. При встречах на улице никто из земляков ничего не говорил и не спрашивал. Ну, работает жёнка, убивается, чего скажешь на это, коли охота дак... Но где-то в феврале, когда в былые времена начиналась деревенская страда и перво-наперво крестьяне-колхозники вывозили на поля назём, в церковь пришли Манефа Гавревских и её сестра. Оглядели своды, стены и, особо не спрашивая, сами нашли, что делать. Скоблили стены, убирая непотребные надписи. Потом принялись за полы. Манефа крикнула нового доможила — неказистого, но ухватистого мужичка — велела ему развести костёр да заварить в молочном бидоне воды. А потом, когда вода поспела, принялась вместе с сестрой скоблить да намыывать полы. Вехоть с дресвой очищала плахи, как наждачная бумага. А вода в ведре с каждой сменой оставалась всё светлее.

На дым костерка, на голоса у церкви потянулись и другие обитатели деревни, кто ещё не покинул отчину-дедину и земной мир. Всем дела хватило. Работали слаженно, дружно и сами себе дивовались. Что-то радостное было в этом труде, как бывало в поры общинной работы — сенокоса ли, уборки урожая. Но и как-то по-особенному, словно намывали ни много ни мало небеса, словно отмывали от вековой грязи мир Божий.

34

Ульяна вымолила-таки сына. Вырвала его из беды. Был знак. Однако час встречи затянул-

ся. С последнего свидания минул почти год, прежде чем они увиделись вновь.

Изменился ли сын за эти долгие месяцы? Ульяна вглядывалась в черты родного лица, в глаза сына, примечала жесты, повадки. Но определиться так и не могла. Как будто особых изменений не произошло. Замкнутый, неразговорчивый? Так он всегда был таким. От первого его крика, отчаянного крика новорождённого, до первого слова, им произнесённого, прошло четыре года. Шутка ли! Думала, уж совсем будет немым... То, что на лице его не отражается чувств, так тоже понятно: научился управлять своими эмоциями так, что даже по глазам ничего не прочитаешь. Белые отметины на руках и предплечьях — тоже не вновь. Дрогнули её губы уже тогда, когда увидела исполосованную белыми шрамами спину. Но и тут взяла себя в руки: это в череде прочего.

В день приезда они сидели с Сергеем за столом. Поглядев в окно, сын кивнул на ближний островок, который её подручные-студенты ещё прошлым летом обратили в подобие лодки: что это? Ульяна проследила за его взглядом:

— Островок-то? Да вроде плавсредства. От алых парусов мои гаврики отказались. Иное поколение. Обратили в лодку. Там и спасательный круг был. Половодьем унесло. Хотели на тех брёвнах написать «Харон», да я отговорила: слишком мрачно. «Стикс» — обидно для Двины. Назвали «Обол». Видишь, красным...

— Обол? А что это?

— Монета такая. Кажется, оловянная. Её вкладывали покойнику в рот. Плата Харону за перевоз в царство мёртвых.

Реакция у сына была военной.

— Хм, — отозвался он и метнул взгляд в телевизор. Лакеи из массмедиа там наперегонки вылизывали пучеглазого олигарха: — А этому тоже оловянный, ежели... — Сергей пришёл-к-ну языком.

Лишних вопросов Ульяна сыну не задавала, он этого не любил, только всё смотрела да укордкой вздыхала. Поразили её его тренировки. Приехал на отдых, а носится как угорелый. Кроссы по просёлочным дорогам проходили вне видимости. О нагрузках свидетельствовали только мокрые майки, шорты да хлюпающие от пота кроссовки. Но заплывы проходили на глазах. Ульяна не помнила, чтобы кто-то

из деревенских мужиков, даже силачей, отважился перемахнуть реку в их местах. А Сергей умудрялся без передышки сплавить на тот берег и обратно, а иной раз и повторить такой заплыв. Ещё больше поражала его зарядка. Все эти растяжки, шпагаты, перевороты, сальто, которые доступны гибким, «гуттаперчевым», с детства тренирующимся гимнасткам, казалось, без усилий проделывает и он, уже матёрый, тридцатилетний мужик. А прыжки в высоту через щитовой барьер!

— Сколько же это, Серёжа? — Она вскинула руку.

— Немного, ма, — отозвался он.

— И всё-таки?..

— Мировой рекорд двадцатилетней давности.

Для тренировок Сергей использовал всё, что попадалось на глаза. А на повети устроил из подручных средств настоящий тренажёрный зал. Самым опасным и коварным снарядом здесь был «маятник», как то ли он назвал, то ли она определила. Тележное с железным ободом колесо Сергей привязал к стропилам и, раскачав его, вставал на пути. Да не просто вставал, следя за размахом «маятника», а при этом делал комплекс упражнений, отклоняясь корпусом влево, вправо и подчас видя приближающийся снаряд лишь боковым зрением. Но самое жуткое наступало тогда, когда он отворачивался спиной и угадывал грядущий удар, который приходился по позвоночнику, в самую последнюю секунду.

Ульяна вскрикнула, тайком наблюдая за этими истязаниями, а после, не выдержав, упрекнула.

— Не смотри, — был ответ. А потом, уже за столом, объяснил: — Когда без тебя, я ведь это делаю. Это надо, мам. Если бы я не делал этого, не владел бы так телом, разве бежал бы из плена, из того каменного мешка, будь он неладен! — И, помешкав, добавил: — Может, этого как раз не хватило отцу...

Он не был бесчувственным, её сын. Но жизнь его по какой-то странной планиде теперь была подчинена войне, где не допускалось места чувствам. Во имя чего шла та война? Что он отстаивал на том поединке? Добро? Но разве может быть добро в чистом виде, если война идёт на чужой территории? Разные племена, разные традиции — они и сами подчас не могут объяснить, в чём корень их противоречий. А тут ещё сторон-

ние интересы, борьба за недра — за нефть, за алмазы... Нет там чистой правды, сынок. Это вот дед твой воевал за правое дело — Родину защищал. А ты-то кого?

Ульяна подумала, но не сказала, не посмела сказать. Однако решительно повела сына на родовые могилы. Рассказала о всех кровниках. Строго и просто. Особо, конечно, о деде-солдате, своём папушке. Ей было важно это. А сыну? Видимого отзыва в лице Сергея она не заметила, словно ничего не связывало его с этими крестами и памятниками. И тут она не могла оправдать его даже тем, что он всегда такой — замкнутый и отстранённый.

Возвращались с кладбища молча. Ульяна сокрушалась, но виду старалась не показывать и волю слезам дала только в своей горенке. Она мысленно корила сына, упрекала за бессердечность, равнодушие. Таким ли был его отец! И вдруг осеклась. А на каких дрожжах он вырос, её сын?! Разве не война стала его люлькой?! Да что люлькой! Война свила гнездо в её утробе, на его детском месте. Даже, может быть, в миг зачатия. Игорь был ещё с нею, был в ней, а уже шёл приказ о его отправке — направлении в погибельную даль.

...Дни отпуска пролетели мигом. Казалось, только что встретились, обнялись, а надо уже расставаться. Ульяна была сама не своя. Не успела наглядеться, толком поговорить. Где уж тут понять что-то... И всё-таки перемены в сыне не ускользнули от её сердца. Сергей стал ещё суровей. Может, поэтому она остереглась позвать его в церковь, которую обустроивала. Убоялась его холодности и, как следствие, — своего сокрушения. Потом-то она жалела об этом и каялась. «Как же так, Ульяна, — корила она себя. — Здесь, под этим сводом, ты молила за сына, к Богу зывала, а сына в Божью обитель не привела?!» Зато снова обратила его к своим художественным затеям — перформансам и инсталляциям. Два года назад она бы не нарадовалась, что сын помогает обустроивать деревенское пространство, сколачивая планшеты, щиты, каркасы. А нынче испытывала какую-то смуту. Поначалу-то думалось, что это от жалости, чувства вины: сынок, мальчик её страдался, а она — со своими нуждами. Но после смекнула, что причина, скорее, не в нём, а в ней. Ведь того первоначального задо-

ра и вдохновения, с которыми она приступила к художественному преобразению деревни, в ней уже не было. Да и сын явно подостыл к этим затеям. Нет, просьбы матери он выполнял: что-то сколачивал, строгал, вбивал. Однако «без энтузиазма», как сам признался. Мало того, затею с оживлением деревни он назвал утопией. А потом и затею, и всё, что уже сотворено, оценил ещё жёстче — «мартышкин труд». Ульяна не перечила. «Мартышкин труд» — это все её усилия, все мечты и упования. Может быть. Но ведь выходило, что надежды нет и для окружающего — ближнего и дальнего. Значит, всё, что ни делается, — пустое дело? Всё — «мартышкин труд»? Да, без пощады рубил Сергей. И всё, что в стране — происходило и происходит, — тоже.

— Открой глаза, мам, — показал он на телевизор, шли новости из Москвы. — Где тут делатели? Где тут власть? Вот этот? Или вот этот? Полно! А эти картинки об успехах? О нано и модерне? Онанизм! Ты же художник, мам. Разве ты не видишь, что всё вылизано языком подхалимов, лгунов и прохвостов?! Не жизнь, а имитация, сплошная и многослойная лакировка действительности.

Ульяна была удручена и соображала плохо. Про картину мира, нарисованную сыном, она ещё помнила. А вот то, что он сказал о какой-то картинке из её галереи, в памяти не отложилось. Ни в памяти, ни в сердце...

35

Сын был во многом прав. Ульяна и сама кое-что стала понимать. Это началось с пьяных, но честных слов областного чиновника. Продолжилось оценкой соседа-доможила: тот бросил ехидную фразу «Турусы на колёсах», имея в виду телегу с парусами, что входила составной частью в её экспозицию. А завершилось всё сыновним приговором.

Ульяна мысленно соглашалась, что все эти паруса, даже и алые, не принесут ожидаемого — возрождения родной деревни. Жизнь — не сказка, это факт. Но ведь и без сказки в жизни нельзя. Она была убеждена в этом. Иначе разве могла бы считать себя художником?!

Не оставляя своих художественных упражне-

ний, Ульяна всё больше сил отдавала восстановлению церкви. Здесь, особенно в погожую погоду, она пропадала дни напролёт. Трудилась много и, казалось, без усталости. И сама себе удивлялась, как полётно ей работается.

После церковного упряга Ульяна выходила на утор и с тихой радостью окидывала взглядом открывающиеся во все концы дали. Чего тут не хватало? Живности. Всё чаще она стала задумываться, что не инсталляции да перформансы могут по-настоящему украсить живописные луга, а живые коровушки. Так, как было в её детстве.

Жёнки-доярки, пусть уже в годах, как Манефа, или её, Ульяны, ровня, ещё оставались в деревне, стало быть, сбереглись и навыки. Нужна была база, то есть ферма. Коровники, строившиеся из силикатного кирпича, огромные, мощные, были разрушены, частью увезены проворными людишками для своих нужд, частью прибраны соседним совхозом-техникумом. Восстановить их было невозможно, да и бессмысленно. Ульяна подумывала о лёгком утеплённом дворе, в котором стояло бы десятка два холмогоров. На первое время достаточно. Но где на этот коровник сыскать деньги? Взять кредит? А что положить в залог? Родительский дом? Так он не покроет того кредита. Занять частным образом? А вдруг прогоришь? А не вернёшь — долговая тюрьма. Одолжить у детей? Тоже не выход. Как и что объяснишь дочери, коли связь только эсэмэсками? А просить у сына — и вовсе страшно. Это ведь деньги, заработанные на войне, на чьей-то, возможно, — она боялась даже думать — крови...

Оставалось одно — живопись, искусство, её художественные навыки. Скопить на вернисажах, которые ей устраивала в Скандинавии верная подруга Кайя, да на перформансах, заявки на которые по-прежнему поступали на электронный адрес агентства «Арт Амон», — вот тот путь, который определяла Ульяне жизнь.

* * *

Очередная поездка в Скандинавию затянулась почти на три месяца. Ульяна устала, вымоталась, но была довольна — удалось хорошо заработать. До заветного ангара — скотного двора не доставало совсем немного. Но в

конце августа она внезапно свернула все дела и махнула домой.

Что же сорвало Ульяну? Отчего так спешно она покинула Скандинавию? Из Норвегии пришла страшная весть. Некий Андрес Брейвик расстрелял из автомата почти восемьдесят человек. Случилось это на острове Утойя, где когда-то она, Йон и дети отдыхали в кемпинге. Мало того, убийца оказался ровесником сына. Холодом опахло Ульяну. В состоянии тревоги, каких-то смутных предчувствий и опасений возвращалась она домой. Почему-то не радовали даже заработанные деньги, которые сулили скорые перемены. А приехала в деревню — и батюшки светлы! — не узнала её.

Под берегом стояли мощные катера и баржи. На угорах, в проулках, за околицей — всевозможная техника: тяжёлые джипы, огромные фуры для перевозки габаритных грузов, тягачи, трелёвщики — чего тут только не было. Правда, порядок держался армейский, не абы как, а в линейчку, если стояло две-три машины. А ещё пестрели камуфляжем просторные армейские палатки. А ещё — по мачте поняла — передвижная армейская радиостанция.

Вся эта картина вызывала оторопь и опаску. Деревенские на улицу не казали носа. Колыхнулась тревожно занавеска на окне Манефы — знать, смотрела, а выходить не решалась. Зато повсюду ходили уверенно-озабоченные чужие люди. Облачённые в полувоенный камуфляж без погон, в импортной выделки охотничьи костюмы, холёные, крупные, решительные, они напоминали пришельцев — десантников с НЛО.

Возле родительской избы стоял чёрный джип. На него Ульяна глянула мельком: кроме недоумённого отращения, эта каракатица ничего не вызывала. Зато издалека обратила внимание на крыльцо. На верёвке висела одежда. Футболка цвета хаки, обычного армейского цвета, ни о чём не говорила — таких много. Но вот ветровка была наособицу: украшенная народными африканскими узорами, она явно принадлежала Сергею, он в такой приезжал прошлым летом после плена. И, уже не мешкая, Ульяна устремилась к дверям.

Сын сидел в передней вместе с двумя незнакомцами, облачёнными тоже в хаки. Они смотрели в ноутбук, что-то обсуждали, делали

пометки на какой-то схеме. При появлении Ульяны Сергей поднялся.

— О, мам!

Следом поднялись его напарники. Отрекомендовавшись, они обменялись с Сергеем взглядами и удалились. Мать с сыном обнялись. Взгляды их — его несколько возбуждённый, деловой, и её, тревожный, — пересеклись.

— Что это, Серёжа? — опасливо спросила она и повела рукой, имея в виду и избу, и его окружение, и всю деревню, уставленную техникой.

— О, мам, — пропел и почти увлёк её в танец сын: — О, мам-блюз, о, мам-блюз...

Таким она никогда его не видела. Ей бы радоваться — в кои-то веки сын улыбнулся и даже всхотнул — но она ещё больше озадачилась и вопрос повторила.

— Всё тип-топ, мам! Всё тип-топ! — отшутился Сергей, от него пахло спиртным. — Перформанс, какой тебе и не снился! Ты знаешь, какие тут люди! Э-э! Тут вся Москва и Европа в придачу. Или наоборот? — последнее он кинул своему приятелю, заскочившему за забытым беретом. — Впрочем, кому как нравится. От перестановки слагаемых сумма не меняется. Верно?

Глаза острые, ноздри раздуваются. Мужик мужиком. А давно ли, кажется, сидел на коленях?! Давно ли словечка не мог вымолвить?! И радостно это, и грустно. И ещё почему-то тревожно. Что он затеял, Сергей?

Ульяна принялась распаковывать вещи, но неожиданно бросила, заслышав рёв автомобиля, и вышла на крыльцо. Сергей, перекрывая шум движка, переговаривался с одним из своих компаньонов. Речь шла о какой-то конструкции, которая требует дополнительного крепежа. Ульяна дождалась, когда тот уйдёт, и спросила сына, что они делают. Это же её деревня. Она здесь родилась. Здесь её дом. Кому же как не ей знать, что тут готовится.

— Хорошо, мам, — ответил Сергей. — Вот там, — он показал на зады, в сторону лесной опушки, — будет экран во всё небо. На экране изображение. А слева будет воспроизведение того изображения. Живое. Зримая песня, так сказать. Что ты, мам! Это будет грандиозно! Не зря же съехались все тузы. Все, мам... Тут ведь такие есть. — Он повёл подбородком, точно уже не хватало рук.

— Но кто это разрешил, кто дозволил? —

Ульяна не могла ничего понять и пыталась добиться какой-нибудь ясности.

Сергей усмехнулся, ткнул пальцем на зады дома. Там в крапиве лежал какой-то человек. Ульяна только сейчас его заметила. Явно пьяный, измазанный в зеленях, заблёванный — она не сразу признала в этом куле того сухопарого областного чиновника, который характерным скрещиванием рук напоминал футболиста. Сейчас его руки были безжизненно раскиданы, а сам он походил на живой труп.

— Мама, мы это всё купили.

— Кто мы?

— Мы — это я и мои единомышленники, партнёры по бизнесу. Документы без сучка без задоринки. Вот она может подтвердить. — Сергей показал пальцем на фигуру в камуфляже. Ульяна с трудом узнала в ней Танкетку, районную, комсомольского разлива, чиновницу. Ишь, как расфуфырилась, теперь и впрямь как танкетка: грудь что пулемётные пупыри, задница как переполненные бензобаки, а рука кренделем и на гаке этом, как на буксире, висит какой-то заезжий, тоже в камуфляже.

Ульяна вернулась в избу. Стала собирать на стол. Сына покормить, да и самой с дороги не мешало перекусить. Но опять всё оставила, вытерла руки, скинула фартук, набросила на плечи неприметную куртку и задом вышла из дома.

Она двигалась к брезентовому ангару, который стоял на отшибе. Почему-то именно это не очень видное среди обилия яркой техники сооружение притянуло её с самого начала. Шла осторожно, прикрываясь кустарником, складками луговины, точно не дома, точно в чужом стане. Опасения её оказались не напрасны. У дверей ангара — они смотрели на лес — топтался охранник. Оружия, похоже, при нём не было. Но глаза вострил, уши были на макушке — и приглядывался, и прислушивался, обходя ангар по периметру. Ульяна, приникая к земле, подобралась к сооружению сбоку. Брезентовая оболочка состыкована была крепко, но в одном месте на самом низу ткань оказалась надорвана, видно, её чем-то зацепили. Ульяна осторожно отогнула уголок. В лицо пахло животинной. Она приникла к отверстию глазом. В ангаре горел свет, кто-то там ходил, стучал каблуками. Глаз обтерпелся. Не каблуками, поняла Ульяна, — копытами. Вдоль

стен и посредине стояли вольеры, а в них — господи ты, боже мой! — чего-то тревожно ожидали антилопы, зебры и — что самое диковинное — жирафы. Ей не померещилось — посредине ангара, под гребень крыши были поставлены жирафы. Тут донеслось покашливание, охранник, видать, на ходу закурил и сейчас должен был появиться из-за ближнего угла. Ульяна шмыгнула в кусты, подождала, пока караульщик не скроется из глаз, и, приседая, бочком-бочком поспешила обратной дорогой.

«Вдали он подобен цветным парусам корабля...» Строчка вертелась неотступно, словно колёса поезда. Ульяна вернулась к дому. Вечерело. Воздух посвежел, загус. Она села на крыльцо. И вдруг ясно представила прошлое. Вот здесь, на этих ступенях, тридцать с лишним лет назад она сидела возле папушки, тихо поглаживала его раненое плечо, спину, а он что-то говорил — со слезой, стоном и кашлем рассказывал. Что он рассказывал? Что вспоминал? Свой последний бой. Это было в Германии, в предместьях какого-то большого города возле... зоосада. Всё кругом горело. И к вольерам подбирался огонь. Животные и звери, мечась по тесным клетушкам, выли, кричали, визжали и плакали. И среди них жирафы. Шеи длинные, глаза, точно блюдца, а из них — слёзы. Папушка, тогда рядовой Трофим Артамонов, хотел помочь — муклой сердечной было для него видеть погибающую животину, словно родная коровушка пропадала среди других. А как ведь иначе деревенскому человеку?! Сам погибай, а кормилицу выручай, коли в беду попала. Сунулся Трофим Артамонов к вольерам, а оттуда — снайпер...

Ульяна зашла в избу. Сергей сидел возле ноутбука, что-то печатал или искал. На кромке стола стояла чашка, из которой он то и дело прихлёбывал. Ульяна подошла и молча на него уставилась. Он не сразу оторвался от занятия и поднял голову. Взгляды их встретились, он понял застывший в глазах матери вопрос.

— Это деньги, мама. Большие деньги. Там, — он похлопал себя по спине, напоминая о шрамах на собственной шкуре, — я этого не зарабатую. А здесь... Один час — и куча денег... Мы тут всё отстроим, мама. Всё. И ферму, и школу, и детсад. И церковь выстроим. Для этого надо выместить тех футболистов, — он мотнул головой,

имея в виду чиновный вехоть, что валялся в офсайде, — всю эту футбольдскую команду, всю снизу доверху по всей вертикали. Всех до единого. Но прежде, мами, — он поднял указательный палец и завершил тираду свистящим шёпотом, — их надо подоить...

Ульяну знобило, полная смятения, она поднялась в свою горенку. Присела возле темнеющего окна. С улицы доносились резкие голоса, чужой, нездешний смех. Из утробы зверообразного джипа раздался тяжёлый рок — музон для людей с тяжёлыми комплексами. Ульяна задёрнула занавеску, включила свет. Взгляд её потянулся к картине Петра Григорьевича. Она как-то потускнела, померкла, словно подёрнувшись болезненной дымкой, пеплом. С чего бы? Взгляд Ульяны скользнул ниже. Там темнело пятно. На этом месте висела репродукция, а теперь темнел прямоугольник невыцветших обоев. А где же картинка? Сергей! Да, прошлым летом он мимоходом обмолвился, что взял какую-то картинку. Что же тут висело? Она обежала взглядом репродукции и вспомнила: Дали. Это была репродукция с картины Сальвадора Дали, и называлась она «Горящие жирафы». Ульяна похолодела. Она повесила работу Петра Григорьевича — портрет родного дома — над этой репродукцией? Собственными руками повесила? Не мо-

жет быть! И сама же себя осадила: может, Ульяна! Всё так и было: и репродукция, привезённая много лет назад в родной дом; и папушка, при виде неё скорчившийся от боли; и портрет дома, повешенный как раз над «Горящими жирафами»...

Стало совсем зябко и мутно. Кутаясь в шаль, старую вигоневую материнскую шаль, Ульяна вышла из избы. Гремела канонада хеви-металл. Почудилась война. Опять вспомнился папушка.

Ульяна вышла за калитку. На пути к ангару она обратила внимание на палатку, от которой приторно пахло. Сейчас она устремилась туда. Палатка стояла на остатках фундамента молочного склада. Сюда в детстве Ульяна сносила излишки молока. Пеструнюшка обильно доила. Теперь пришельцы устроили здесь склад ГСМ. Ульяна отогнула полог и включила фонарик. На бочках красным по жёлтому полыхнула надпись. Это был авиационный бензин.

□

Михаил Константинович ПОПОВ (1947) —

уроженец Русского Севера.

Автор двух десятков книг — прозы, публицистики, литературоведческих работ.

Пишет для взрослых читателей и детей.

Его произведения переведены на основные скандинавские языки, а также на английский.

Лауреат ряда премий: Всероссийской литературной им. Б.В.Шергина (2005), Всероссийской литературной

им. И.А. Гончарова (2007),

Международной премии им. М.А.Шолохова (2008).

Член Союза писателей России.

Главный редактор литературного журнала «Двина» (Архангельск).

В «Севере» печатается с 1990 года.

